



Исаак
Башевис
Зингер

ПАПИН
ДОМАШНИЙ
СУД



проза еврейской жизни



Книга издана при поддержке
фонда АВИ ХАЙ

III
проза еврейской жизни

יצחק באשעוויס-זינגער

מײן טאַטנױס

בית-דין-שטוב

Исаак Башевис Зингер

Папин
домашний суд

Рассказы

*Перевод с идиша
Муси Вигдорович*



וועב'ס פארלאג
ה'תשס"ז

Москва

2007/5767

УДК 821.111(73)

ББК 84(4Сое)

363

Перевод с идиша М. Вигдорович
Художественное оформление А. Бондаренко
Верстка Е. Гаврилова

Редактор Б. Радзиловский
Корректоры В. Рябцева, Ю. Блисковская
Ответственный за выпуск Я. РАТНЕР

Издательство «Еврейское слово»
127018, Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5а
Тел. (095) 792-31-10; 792-31-13
E-mail: gazeta@e-slovo.ru; lechaim@lechaim.ru
Internet: www.e-slovo.ru; www.lechaim.ru

Башевис Зингер, Исаак

363 Папин домашний суд: Исаак Башевис Зингер; пер. с идиша М. Вигдорович; худ. А. Бондаренко. — М. : Еврейское слово, 2007. — 256 с. — (Проза еврейской жизни).

ISBN 9785900309446 (тв. пер.)

УДК 821.111(73)

ББК 84(4Сое)

В автобиографической книге «Папин домашний суд» Исаак Башевис Зингер, нобелиат и крупнейший еврейский прозаик XX века, воссоздает атмосферу своего детства, прошедшего на бедняцкой Крохмальной улице в Варшаве.

ISBN 9785900309446

Русский текст и оформление © «Еврейское слово», 2007

Оформление серии © А. Бондаренко, 2007

© АВИ ХАЙ, 2007

Это рассказ о моей семье и о раввинском суде — вещах, так связанных между собой, что трудно определить, где кончается одно и начинается другое. Раввинский суд, бейс дин, — древнее учреждение. Он начался, когда Итро посоветовал Моисею «обеспечить народ судьями способными, богобоязненными, любящими правду, ненавидящими ложь и алчность...» Есть прямая связь между сегодняшним бейс дином и составителями Талмуда, Геоним, Амораим, Несиим, Танаим, Мужами великого Собрания и Сангедрина.

Бейс дин представляет собой смесь суда, синагоги, Дома Учения и, если хотите, кабинета психоанализа, где люди, чей разум помутнен, могут облегчить свою душу. Такая смесь не только терпима, но и необходима для того, чтобы бейс дин сохранялся у многих поколений.

Я убежден, что бейс дин явится основой суда будущего, если, разумеется, мир пойдет вперед, а не назад. Бейс дин быстро исчезает, но я верю, что он возродится

и станет всемирным. Ибо нет справедливости без доброты, а самый лучший приговор тот, который принимается всеми сторонами по доброй воле и с верою в Бога, бейс дину противостоит судилище, использующее силу, правое оно или левое.

Бейс дин может существовать лишь у народа, исполненного глубокой веры и смирения. Не случайно он достиг вершины у еврейского народа, когда тот полностью лишился светской власти и влияния.

Я не стремлюсь идеализировать бейс дин или снабдить его деталями, неизвестными мне из опыта. Он не только изменяется вместе с поколениями — каждый раввин окрашивает его собственным характером и личностью. Очень важно, чтобы личность была искренней и справедливой. Иногда мне кажется, что бейс дин — это прообраз Суда Небесного, Божьего Суда, который евреи считают безусловно правым и милосердным.

КТО Я

Я родился в городе Радзимине близ Варшавы 14 июля 1904 года в семье раввина Пинхаса-Менахема Зингера, рыжебородого, голубоглазого, глубоко богобоязненного человека. Моя мать, Бас-Шева, была дочерью раввина из Билгорая, что недалеко от Люблина. Она коротко стригла свои рыжие волосы и по обычаю замужних еврейских женщин носила парик.

В начале 1908 года семья переехала из Радзимина в Варшаву. Там отец стал раввином на очень бедной улице, которая называлась Крохмальной. Дом, где я вырос, в Америке сочли бы трущобой, но тогда мне не казалось, что он так плох. Квартиру освещала керосиновая лампа. Такие удобства, как водопровод и тем более ванна, были нам неизвестны. Уборная помещалась во дворе.

На Крохмальной улице жили в основном бедные ремесленники и лавочники, но были и уче-

ные, а также воришки, забулдыги, темные личности.

Примерно с четырех лет я стал ходить в хедер. За мной каждое утро приходил помощник учителя, который отводил меня туда. Я брал с собой сидур, потом Пятикнижие и трактат Талмуда. Других книг я не знал. В хедере нас учили молиться, читать священные книги, писать по-еврейски.

Младший брат Мойше был еще совсем маленьким, когда мы переехали в Варшаву, сестра Хинда-Эстер была старше меня на тринадцать лет, а брат Исроэл-Ешуа — на одиннадцать. Все мы, кроме Мойше, стали впоследствии писателями. Роман брата «Братья Ашкенази» переведен на несколько языков, в том числе на английский. Писал он, как и я, на идише.

В нашем доме все учились. Отец весь день сидел за Талмудом. Если у матери выдавалась свободная минутка, она заглядывала в Священную Книгу. У других детей были игрушки, меня же интересовали книги отца. Я начал «писать», едва узнав алеф-бейс. Макал перо в чернильницу и что-то царапал. Я любил и рисовать — лошадей, дома, собак. Суббота приносила мне страдания: в этот день запрещалось писать.

В варшавской квартире отец проводил раввинский суд. Жители Крохмальной улицы приходили к нему за советом или с просьбой разрешить спор в соответствии с законами Торы. В сущности, отец был и раввином, и судьей, и духовным наставником. К нему шли также излить душу. Под руководством отца в нашей квартире справлялись свадьбы, при соответствующих обстоятельствах отец разрешал разводы. Для евреев того времени раввин был человеком, у которого много обязанностей, но мало денег.

Будучи по своей природе любознательным, я наблюдал за взрослыми, их поведением. Внимательно прислушивался к тому, о чем они говорили, но не всегда все понимал.

Я рано стал задумываться над всякой всячиной. Что произойдет, если птица будет вечно лететь, никуда не сворачивая? Что случится, если построят лестницу до самого неба? Есть ли начало у времени? И как оно возникло? Существует ли конец у пространства? И может ли быть конец у пустоты?

Много часов я проводил в размышлениях, стоя на балконе нашего дома. Летом там собирались всевозможные насекомые — мухи, пчелы, бабочки. Эти создания возбуждали во мне большой

интерес. Чем они питаются? Где они спят? Как они появились на свет? Вечерами я наблюдал за Луной и звездами на небе. Мне говорили, что некоторые звезды превосходят по своим размерам Землю. Но как они, такие огромные, умещаются на клочке неба над крышами домов на Крохмальной улице? Я часто задавал родителям вопросы, на которые даже они затруднялись ответить. Отец в таких случаях говорил, что грешно тратить время на подобные вопросы. Мама же убеждала меня, что я сам найду ответы на них, когда вырасту. Я понял, что даже взрослые не все знают. На нашей улице люди часто умирали, смерть пробуждала во мне страх и удивление. Мама утешала меня, объясняя, что души хороших людей попадают после смерти в рай. Но я хотел знать, что они делают в раю и как рай выглядит. Я боялся ужасов ада, где наказывают грешников.

Совсем еще маленьким я узнал о страданиях людей. Польша, разделенная между Россией, Германией и Австрией, лишилась независимости около ста лет назад. Но мы, евреи, потеряли свою страну Израиль примерно две тысячи лет назад. Отец, впрочем, уверял, что, если евреи будут жить по Торе, придет Мошиах и мы все вернемся

в Израиль. Но две тысячи лет — это очень много. Кроме того, как знать наверняка, что все евреи соблюдают Божьи законы? Я уже говорил, на Крохмальной улице были и воры, разные жулики. Из-за них приход Мошиаха может откладываться бесконечно.

В том году, когда я родился, умер доктор Теодор Герцель. Он утверждал, что евреям следует, не дожидаясь прихода Мошиаха, начать строительство своего государства в Израиле. Но как это возможно, если земля захвачена турками?

Революционеры, которые жили на нашей улице, хотели избавиться от русского царя, мечтали о создании государства, где бы все трудились и не было бы ни бедных, ни богатых. Но как свергнуть царя, если его защищает столько солдат с саблями и ружьями? И как это возможно — ни богатых, ни бедных? Кто-то всегда должен будет жить на Крохмальной, а кто-то на Маршалковской, прекрасной улице с деревьями и нарядными магазинами. Одни будут жить в больших городах, другие в дальних деревнях... Эти вопросы обсуждались в нашем доме и членами семьи, и гостями. Я ловил каждое их слово. Родители, старший брат и сестра — все любили что-то рассказывать. Отец часто говорил о чудесах, сотворенных

цадиками, о духах, демонах. Своими рассказами он хотел укрепить нашу веру в Бога, в добрые и злые силы. Мама вспоминала о своей жизни в Билгореае, где ее отец был раввином. Моего брата Ешуа влекло к «мирскому». Он читал нерелигиозные книги и рассказывал мне о Германии, Франции, Америке, о чужих религиях и обычаях. Сестра пересказывала романтические истории, в которых графы влюблялись в бедных девушек. Уже в раннем детстве я стал выдумывать всякую всячину, и все это приходилось выслушивать детям в хедере. Однажды я заявил им, что мой отец — царь, и привел подробности, заставившие их поверить мне. Как могли поверить — до сих пор не понимаю. Уж я-то не был похож на принца.

В 1914 году началась первая мировая война. В 1915-м, когда мне было одиннадцать, немцы заняли Варшаву. В 1917-м я услышал необычайную новость: царь Николай II свергнут. Солдаты с саблями и ружьями не захотели его защищать, они поддержали революционеров. Если это действительно случилось, то, может быть, на самом деле скоро не будет ни бедных, ни богатых?

Но до этого было еще далеко. Варшава страдала от голода и тифа. Немцы хватили людей на улице и отправляли их на работы. Наша семья

Кто я

голодала, и было решено, что младшие дети, Мойше и я, поедут с мамой в Билгорай, где с едой легче. Мне было уже тринадцать, возраст бар-мицвы, а ответов на свои вопросы я все еще не находил.

РОДОСЛОВИЕ

Папа происходил из более знатного рода, чем мама, но редко говорил об этом. Дед мой, его отец, реб Шмуэл, был помощником томашовского раввина, отец деда, реб Ишая Конскер, — хасидом и ученым, но не раввином, отец реб Ишаи, реб Мойше, прославился как Варшавский мудрец, автор «Священного письма», его отец, реб Тувия, был пшецкиным раввином, а дед, реб Мойше, — нойфельдским. Он был учеником знаменитого Бал-Шем-Това. Отец реб Мойше, реб Цви-Гирш, был жоркским раввином. Корни Темерл, моей бабушки по отцовской линии, уходят еще дальше, в глубь веков.

Дед Шмуэл не общался с людьми, соблюдая обет молчания. Много лет он отказывался быть раввином, предпочитая этому занятию изучение кабалы. Он часто постился и настолько усердно молился по утрам, что бабушка вынуждена была

ежедневно менять ему рубашку, а это считалось неслыханной роскошью. Мать бабушки Темерл была ювелиром и содержала семью, бабушка поступала так же. В те времена уделом женщины было рожать детей, готовить еду, вести хозяйство и зарабатывать на жизнь, мужья целиком посвящали себя изучению Торы. Наши бабушки не жаловались, а благодарили Бога за то, что послал им ученых мужей. Позднее, когда бабушка уже не могла зарабатывать, дедушка согласился стать раввином.

В отличие от дедушки, бабушка общалась с людьми, и ее все любили. Она была дочерью Хинды-Эстер, известной тем, что Бельзский ребе Шолом предложил ей сесть, когда она пришла к нему. Бабушка страстно желала, чтобы ее дети изучали Тору.

Ее старший сын Ишая, который женился и осел в галицийском Рогатине, был богобоязненным и богатым бельзским хасидом, один сын умер, а две дочери вышли замуж в Венгрии. Вся любовь и внимание матери сосредоточились на младшем сыне, моем отце. Ее радовало, что в отличие от других юношей, модно одетых, увлеченных мирской суетой, читавших еврейские газеты и журналы, изредка достигавшие Томашова, сына влекло

к иудаизму и науке. Он продолжал носить традиционную капоту¹, полуботинки, платок на шее, у него были длинные пейсы. С детства он мечтал стать святым, в пятнадцать лет уже писал комментарии к святым книгам. Другие мальчишки сторонились его, не любили за нежелание играть в волчка или в карты в Хануку, за превосходство и отчужденность.

Бабушка хотела женить сына как можно раньше, но богачам не нравились старомодные зятья, а бабушка еще и настаивала на том, чтобы невеста была из раввинского рода. Когда отца наконец обручили, невеста умерла, ему же предстоял призыв в царскую армию. Для такого юноши, как отец, не могло быть ничего хуже этого. В те дни обычно тянули жребий — тот, кому везло со жребием, освобождался от призыва. Отцу повезло, ему даже не пришлось предстать голым перед врачами, за что он много лет потом благодарил Бога.

Только после освобождения от службы семья поняла, какой он старый холостяк, — двадцать один год! В капоте, полуботинках, ермолке под бархатной шапкой, с рыжей бородой и длинными пейсами, он походил на пожилого хасида. По-

¹ Длинный кафтан (*идиш*). — Здесь и далее примеч. ред.

груженным в религию, не проявлявшим интереса к другим людям, им владело лишь одно желание — жить как еврей. В его костюме недоставало только талеса — молитвенного покрывала женатого мужчины. Другие юноши, в начищенной до блеска обуви, в очках с золотой оправой, шутили, что Пинхас-Менахем стремится стать ребечудотворцем, и это было правдой: отец хотел очистить свою душу, чтобы творить чудеса. Помимо Талмуда и Писания, он читал труды хасидизма и случайно попавшуюся ему книгу по кабале. Его поведение нравилось матери, однако оно не было модным. Дочери раввинов читали современные книги, гуляли самостоятельно, ездили на воды, говорили по-немецки, иногда даже надевали модные шляпки. Молодому раввину следовало знать кое-что о практической стороне жизни, о коммерции, мирских делах, и отец не укладывался в образ представляющего интерес жениха.

Но вот предложили брак с дочерью хорошо известного в округе билгорайского раввина, бывшего раввина Мациева, что близ Ковеля, а до этого — Пурика в воеводстве Шедлиц. Это был раввин прошлых времен. Однажды, когда в Билгорай приехала театральная труппа, он надел капоту,

отправился в сарай, служивший местом представления, и выгнал актеров вместе с публикой. Хотя Билгорай находился недалеко от просвещенных Замосця и Щебржеш, где жил «еретик» Яков Рейфман, дедушке с помощью старшин общины и хасидов удавалось сохранять Билгорай нетронутым, благочестивым. Кое-кто в городе считал раввина фанатиком, мракобесом, но его уважали и боялись. Высокий, плотный и крепкий, сохранивший к старости все зубы и волосы, он славился также как математик и знаток грамматики. Общиной он управлял, как древний вождь.

Предстоящий брак встревожил отца, ибо, несмотря на религиозность, билгорайский раввин слыл настолько традиционным, что даже хасидизм казался ему нечистым: песни, пляски, мистика! Билгорайский дедушка был деспотом, его двое сыновей — известными острословами. Отец боялся, что не уживется с ними.

Но отказаться было невозможно. Матери моей шел тогда шестнадцатый год, она славилась своей мудростью и эрудицией. Женихов было два — отец и юноша из богатой люблинской семьи. Дедушка спросил, кого она предпочитает.

— Кто из них более ученый? — спросила дочь.

— Тот, что из Томашова.

Это оказалось решающим. Но при подписании брачного контракта мамина семья была весьма разочарована. Бабушка Темерл явилась в шелковом платье, модном разве что сто лет назад, в шляпе с массой не виданных нигде лент, узелков и кораллов. Даже речь ее была архаичной, а отец сошел бы скорее за свекра, чем за жениха. Собственный же отец его, реб Шмуэл, молчал. Сам отец тоже не проронил ни слова будущим родственникам, пытавшимся поговорить с ним о магазинах, поездках, политике. Он знал только службу Богу, не говорил ни по-польски, ни по-русски, не мог даже прочесть адрес на письме. Мир помимо Торы и молитв был для него полон чертей, демонов и домовых.

Мама остолбенела, увидев жениха с большой рыжей бородой. Но услышав, как он обсуждает с ее отцом талмудические вопросы, прониклась к нему уважением. Она говорила мне, что ей понравилась и разница в их возрасте, пять лет.

Бабушка Темерл подарила маме золотую цепочку, такую тяжелую, что ее едва можно было носить, цепочке было, наверно, двести лет, спустя несколько месяцев мама показывала ее подругам.

Бабушка с материнской стороны, Хана, язвительная, саркастичная, при всей своей богобояз-

ненности могла пребольно уколоть любого. Это отличало ее от бабушки Темерл, полной благодушия и цитат из Торы. Если Хана грустила, то Темерл радовалась, Хана все осуждала, Темерл — восхищалась Божьими чудесами. Бабушку Хану сразу же заинтересовало, как собирается отец содержать семью, когда истекут восемь лет жизни за счет тестя, оговоренные контрактом. Бабушка Темерл была уверена, что Бог позаботится, как всегда. Разве не Он послал евреям в пустыне манну?

— Это было давно, — сухо заметила Хана.

— Бог не изменился, — возразила Темерл.

— Мы уже недостойны чуда, — категорично заявила Хана.

— Почему? — удивилась Темерл. — Мы можем быть такими же хорошими и благочестивыми, как наши предки.

Примерно так они беседовали. Уверовав, что будущее сына в надежных руках, бабушка Темерл уехала счастливая. Реб Шмуэл так ничего и не сказал, билгорайский раввин вернулся к своим книгам. Чувство тревоги у бабушки Ханы усилилось, она не сомневалась, что ее младшая дочь кончит жизнь в нищете.

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Мой дедушка, билгорайский раввин, не был особенно близок со своими прихожанами. Его интересовали только Талмуд и вопросы, связанные с вечностью. У него не оставалось времени для мелочей и лишних разговоров. Он толковал законы в духе религии, и ни слова больше. Городские интриги и склоки его не заботили, хотя то и дело создавались противоборствующие партии, пытавшиеся помешать друг другу в делах общины — выборе шойхета, старейшин... В Талмуде сказано, что нужно заткнуть уши, чтобы не слушать болтовню, — так он и делал, а в порыве гнева внушал даже именитым членам общины, что они не должны отвлекать его по пустякам. Те оставляли его в покое, но проникались к нему враждебными чувствами.

С другой стороны, простые евреи — ремесленники, мелкие торговцы, так называемая «чернь», —

почитали его и никому не давали в обиду. Они обращались к нему за советами даже по частным проблемам, проводили с ним третью субботнюю трапезу.

В городе было два вида хасидов — турискские и цанзские. Дедушка в юности посещал «двор» Турискского магида и считался хасидом. На самом деле он был не в восторге от сыновей Магида — реб Якова-Лейбеле и реб Мотеле Кузмирского, которые ежегодно наезжали в Билгорай отбивать друг у друга последователей. Останавливались они у дедушки, и всегда начинался шум. Дедушка соорудил во дворе шалаш с «крыльями», откидными крышами, поднимавшимися и опускавшимися с помощью веревок. Здесь он поселялся со своими книгами, чернилами, перьями, бумагой и самоваром, пил дымящийся чай, изучал Тору и писал комментарии, которые будут скорее сожжены, чем напечатаны, когда к нему приезжал один из двух ребе. Люди, в том числе сыновья Магида, боялись дедушки, потому что он говорил им правду, демонстрируя этим изречение: «Слова ученого жгут, как угли». Его сыновья, Йосеф и Иче, были умны, но им не хватало отцовской силы воли. Он предпочитал дочерей, особенно Бас-Шеву, мою мать, умную, богобоязненную, прекрасно владев-

шую святым языком девушку. Она была синеглазая, белокожая, рыжеволосая, с тонким носом, острым подбородком и ногами, по словам сапожников, самыми маленькими в городе, очень аккуратная. Худая, хрупкая, она страдала отсутствием аппетита, и всегда у нее что-нибудь болело.

Билгорай считался относительно большим городом. Он был расположен у австрийской границы, там стояло много солдат. Офицеры-казаки танцевали с русскими дамами или играли в карты в клубе. Солдаты ездили с нагайками по улицам, на голове — папаха, в одном ухе — серьга. На боковых улицах жили поляки, и три нации не смешивались, говорили на разных языках и отмечали разные праздники.

Свадьба моих родителей была шумной, происходило это после праздника Швуэс. Мама часто вспоминала о ней. Все девушки сшили по этому случаю платья, выучили новые танцы. Но жених, мать которого хотела, чтобы сын оделся получше, должен был летом влезть в меховую шубу, что очень развеселило городских франтов.

Отец скоро понял, что не подходит суровому, властному тестю, с ним практически невозможно было говорить. Оба шурина насмеялись над его религиозностью, стремлением во всем оставаться

евреем. Возвращаясь из синагоги, он часто с трудом находил дорогу домой, а так как никогда не глядел на женщин, мог не узнать маму и легко принять за свою жену тещу или золовку. Даже в те времена такая удаленность от мирских дел была в диковинку.

Чтобы стать казенным раввином, требовалось выдержать экзамен по русскому языку, пройти собеседование у губернатора. Братья матери сделали это, а отец отказался. В течение восьми лет «кормления у тещы» он часто ездил домой, а иногда отправлялся к ребе-чудотворцам. Желая стать учеником праведника, он не мог найти такого, который отвечал бы его требованиям.

По прошествии восьми лет отец стал искать небольшую общину, где не надо было бы сдавать экзамен по русскому языку. Братья и бабушка Хана советовали маме развестись с этим мечтателем, но у нее уже родились дети — моя сестра Хинда-Эстер и брат Ешуа. Дедушка не говорил ничего, становясь с годами все более молчаливым и замкнутым.

Поскольку молодые люди так часто боролись за раввинские места, требовавшие протекции, никто не верил, что отец найдет что-нибудь для себя. Однако он нашел. Нашел в Леонсине, крошечном

городке на берегу Вислы, неподалеку от Нового Двора и лишь в нескольких верстах от Варшавы. Родители прожили в этом городке десять лет, там появились на свет мы с братом Мойше, хотя оба записаны в Радзимине. Леонсин мне незачем обрисовывать, мой старший брат уже сделал это в книге «О мире, которого больше нет». Но о Радзимине я бы хотел немного сказать.

Отец оставил Леонсин и сделался помощником Радзиминского ребе в результате ряда событий. В Радзимине обосновалась хасидская династия, созданная ребе Янкеле, чудотворцем, ранее связанным с «дворами» хасидов Пшисхи и Коцка. Женщинам, приходившим к нему, он дарил заколдованные монеты и куски янтаря, защищающие от болезней. Он любил монеты, медь, серебро и золото, держал их в глиняных кувшинах. Молодые люди просили, чтобы он помог им освободиться от призыва. Ходили слухи, что его брань помогает больше, чем благословение. Женщине, которая пришла к нему с больным ребенком, он кричал:

— Убирайся со своим ублюдкой!

Ребенок немедленно выздоровел.

Говорили, что заклинаниями он воскрешает мертвых, что к нему приходят очиститься даже трупы, чтобы их пустили в рай. По его словам, на

чердаке у него собралось столько переселившихся душ, что чердак скоро рухнет. Однажды он упал ночью с постели и закричал:

— Он и мертвый остался дураком! Явился ко мне в саване, хотя знает, что я боюсь.

Его сын Шлоймеле умер молодым, а внук реб Аарон-Менахем-Мендл стал ребе, унаследовал большое состояние деда, Дом учения и недвижность в Варшаве. Нельзя сказать, что радзиминская династия была такой уж родовитой, но реб Аарон-Менахем-Мендл женился на дочери Бяльского ребе из авторитетнейшего рода! Тем не менее Радзиминскому ребе не хватало престижа, его посещало мало образованных евреев и раввинов, последователями его были мелкие лавочники и кучера. Большим ученым он не слыл, его комментарии нуждались в серьезной редакции. Он открыл ешиву, однако ни главы ешивы, ни учителей не подобрал.

И место досталось моему отцу.

Мы сложили свои вещи на телегу и поехали в Радзимин. Мне было тогда три года, но я помню эту поездку. Все городские евреи пришли попрощаться с нами, женщины целовались с мамой. И мы поехали через поля, леса, мимо ветряных мельниц. Был летний вечер, небо сверкало, каза-

лось, горящими углями, огненными метлами и зверями. Слышалось жужжание, гудение, квакали лягушки. Телега остановилась, и я увидел поезд: сначала большой паровоз с тремя фонарями, подобными солнцам, потом товарные вагоны, которые тащились медленно, озабоченно. Они, казалось, шли ниоткуда и до конца света, где было темно.

Я стал плакать. Мама сказала:

— Чего ты плачешь, глупенький? Это же просто поезд.

Теперь я точно знаю, что видел тогда поезд с нефтяными цистернами, но чувство тайны, связанное с ним тогда, осталось во мне навсегда.

ПЕРЕЕЗД ИЗ РАДЗИМИНА В ВАРШАВУ

Небольшой поезд тронулся с места. Я расположился у окна и смотрел наружу. Люди, казалось, пятятся назад, телеги тоже двигались вспять. Убегали прочь телеграфные столбы. Рядом со мной сидели мама и сестра Хинделе, которая держала на руках маленького Мойше. Мы переезжали из Радзимины в Варшаву.

Старший брат, Ешуа, ехал на телеге с мебелью и другими вещами. Отец ждал нас в Варшаве. Он снял квартиру на Крохмальной улице, д. 10.

Переезд на новое место жительства был для семьи нелегким. Но я получал большое удовольствие, узнавая каждую секунду что-то новое. Маленький паровоз (его называли «самовар») весело свистел. Время от времени он выпускал пар и дым — прямо как большой локомотив. Мы проезжали деревни, избы с соломенными крышами, луга, на которых паслись коровы и лошади. Одна ло-

шадь положила голову на шею другой. На полях торчали чучела, одетые в лохмотья, вокруг них с шумом вились птицы. Я продолжал спрашивать маму: что это? а это? Мама и сестра отвечали мне, даже посторонняя женщина пыталась им помочь. Я был одержим любопытством, жаждал объяснений. Почему коровы едят траву? Почему из трубы идет дым? Почему у птицы есть крылья, а у теленка нет? Почему одни люди идут пешком, а другие едут на телеге? Мама качала головой — этот мальчик сведет меня с ума!

Поездка длилась едва ли два часа, но впечатлений было так много! Мы приближались к Варшаве, и чудес становилось все больше. Появились высокие дома с балконами, заводы с длинными трубами и зарешеченными окнами. Осталось позади кладбище с большим количеством памятников. Показался красный трамвай. Я понял, что уже не имеет смысла спрашивать, и молчал. Наконец наш поезд остановился.

На дрожках, которые тащила серая лошадь, мы проехали по мосту через Вислу — ту самую реку, что протекала и в Радзимине. Но как река может быть такой длинной? Впервые я увидел лодки и корабли. Один корабль свистел и выл так громко, что пришлось заткнуть уши. На палубе другого

играл оркестр, его медные инструменты сверкали на солнце и ослепляли меня.

После моста возникло новое чудо — памятник королю Сигизмунду. Четыре каменных изваяния, полулюди, полурыбы, пили из больших каменных кубков. Я хотел спросить, что это такое, но не успел — появились другие чудеса. Улицы с высокими домами. Куклы в окнах магазинов, казавшиеся странно живыми. На тротуаре дамы в шляпах, украшенных вишнями, грушами, сливами, виноградом, лица многих закрыты вуалями. Мужчины в цилиндрах, в руках у них трости с серебряными набалдашниками. Много красных трамваев, в некоторые были впряжены лошади, другие двигались сами. Сестра объяснила, что их передвигает электричество. Я видел городских на конях, пожарных в медных касках, экипажи на резиновых колесах. Лошади с короткими хвостами задирали головы вверх. Наш кучер в синем армяке и фуражке с блестящим козырьком говорил на идише. Он обращал внимание нас, провинциалов, на достопримечательности Варшавы.

Я испытывал и восторг, и унижение. Чего же стоит маленький мальчик по сравнению с огромным и шумным миром? И как здесь можно найти отца, брата Ешуа и телегу с нашими вещами? Но

было очевидно, что взрослые все знают. Они сотворили все эти чудеса, а я — беспомощный маленький мальчик, которого сестра держит за руку, чтобы он не свалился с дрожек. При каждом их повороте небо тоже поворачивалось, и мои мозги гремели в голове, как орешек в скорлупке.

Внезапно кучер объявил:

— Крохмальная.

Дома здесь поднимались еще выше, и ущелье между ними было заполнено людьми. Толкотня, крики напомнили мне о пожаре, который произошел месяц назад в Радзимине. Я не сомневался, что и сейчас попал на пожар. Парни кричали, свистели, прыгали, толкали друг друга. Девушки пронзительно хохотали. Стало темнеть, человек длинной палкой с огнем на ее конце зажег уличные фонари. Из труб шел дым.

Дрожки подъехали к воротам, и я увидел брата Ешуа. Телега с вещами приехала раньше нас. Мама спросила об отце, Ешуа сказал, что он отправился на вечернюю молитву.

— Горе мне, это сумасшедший город! — воскликнула мама.

— Улица веселая, — сказал брат.

— Почему никто не сидит дома? — удивилась мама.

Мы прошли со двора в дом. Я никогда еще не ходил по ступенькам лестницы, переступить с одной на другую было страшно интересно. На лестнице нас встретила женщина.

— Вы жена раввина? — обратилась она к маме. — Боже мой, вас обокрали до нитки! Холера на воров, чтоб их внутренности сжег черный огонь! Как только ваши вещи выгрузили, они бросились их растаскивать. Господи, пусть их самих потащут на кладбище!

— Что ж ты не смотрел? — спросила мама Ешуа.

— За всеми не уследишь. Начнешь отнимать вещи у одних, а в это время таскают другие.

— Хотя бы на одну постель осталось белья?

— Что-то осталось.

— Воры — евреи?

— Было и несколько неевреев.

Мы прошли на кухню, стены ее были выкрашены в розовый цвет, затем — в большую комнату. Я вышел на балкон и оказался сразу и в доме, и на улице. Внизу кишела толпа, наверху, над крышей, просматривался клочок неба. Там висела луна, желтая, как медь. В домах горели керосиновые лампы, когда я сощурил глаза, из окон вырвались огненные лучи. Внезапно я услышал усиливаю-

щийся звон. Откуда-то выехал пожарный на быстром коне, медная каска всадника сверкала, как огонь. Мальчишки стали кричать:

— Верховой! Верховой!

Позднее я узнал, что на этой улице часто дурачили пожарных. Чтобы не ездить зря, если пожара нет, для проверки посылали верхового. На сей раз действительно был пожар. Из окна на верхнем этаже валил дым, летели искры. Балконы заполнились людьми. Примчались повозки с впряженными в них неистовыми конями. Пожарные бросились в дом, у них были топоры, лестницы, резиновые шланги. Городовой с саблей отгонял зевак.

Сестра зажгла лампу. Мама стала смотреть, что сохранилось из вещей. То, что вора́м не удалось унести, они поломали. Было разбито несколько пасхальных блюд.

В квартире пахло краской и скипидаром. От соседей доносились музыка, пение, шум. Брат сказал, что это граммофон. Пел кантор, как в синагоге, смеялись девочки, бранились женщины. Но всего этого не было, все шло из трубы граммофона. Брат уже знал, что изобрел его Эдисон в Америке.

— Как труба может петь и говорить? — не понимала мама.

— Ты в нее говоришь, а она повторяет твои слова, — объяснил Ешуа.

— Но как?

— Это все электричество, — вступила в разговор сестра.

— Детям пора спать, — решила через некоторое время мама.

Меня раздели, я и не сопротивлялся, потому что очень устал, и сразу заснул. Проснулся, когда комната была залита солнечным светом из открытых окон. Я тут же отправился на балкон. Улица, которую вчера обволакивала ночь, сейчас сверкала на солнце. Покупатели устремились в лавки. Мужчины с молитвенными принадлежностями под мышками шли в синагогу. Уличные торговцы продавали хлеб, булочки, ватрушки, копченую селедку, яблоки, груши, сливы. Парень вел по улице индюков, которые норовили разбежаться в разные стороны, но он ловко управлялся палкой, заставляя их держаться вместе.

Папа уже сидел над Талмудом. Он увидел меня и велел прочесть «Мойде ани»².

— Ты здесь пойдешь в хедер, — сообщил он мне.

² «Благодарю Тебя...» — первая утренняя молитва (*иврит*).

— Я не знаю дороги.

— Тебя поведет помощник учителя.

Мама дала мне на завтрак то, что я никогда не ел: ватрушку с творогом и копченую селедку. Пришел сосед, рассказывал нам, что здесь происходило в 1905 году. Молодые революционеры стреляли из ружей, городские рубили их саблями. Кто-то бросил бомбу.

Мама грустно качала головой, папа дергал себя за бороду. Прошло уже несколько лет, но жители Крохмальной не могли забыть эти ужасные дни. Большое число участников тех событий до сих пор находится в тюрьме или отбывает ссылку в Сибири. Многие уехали в Америку.

— Чего они хотели? — спросил папа.

— Избавиться от царя.

Мама побледнела.

— Я не хочу, чтобы мальчик слушал это.

— Что он может понять? — заметил сосед. Но я все-таки слушал. Мое любопытство было безграничным.

ДЯДЯ МЕНДЛ

Я испытывал зависть, когда ребята говорили о своих родственниках: «Дедушка дал мне Хануке гелт», «Бабушка подарила мне новую шапку», «Я ездил с дядей в Фалениц», «Тетя взяла меня с собой на бега». Я же общался только с близкими родственниками, самыми близкими. В Билгоре, в трех днях езды от Варшавы, родня была. Туда надо было ехать поездом до Рейовиц. Не ближе, в Томашове, жила Темерл, моя бабушка с отцовской стороны. Остальные родственники — кто где, в Галиции, Венгрии. Они казались мне нереальными, существовали только в семейных легендах, преданиях. Родная сестра вышла замуж и уехала в Бельгию.

Но историй, связанных с родственниками, было много.

Например, о дяде Мендле и тете Тойбе, сестре матери, на пять лет старше ее, которые жили в

Горшкове, неподалеку от Ижбицы, очень скромно жили.

Хотя его отец, Ицхок из Горшкова, был богатым человеком, дядя Мендл оказался таким умым, таким упрямым, твердолобым, что верил, будто достаточно каждому довольствоваться самым насущным — и зло в мире значительно сократится. Он не считал, что гордость от этого пострадает. По его мнению, даже зять билгорайского раввина, ученый еврей, может таскать на своих плечах мешки с зерном, выгонять корову на луг и заниматься черной работой. Чтобы остаться честным, утверждал он, нужно ходить в рубище.

Невысокий, худой, с жидкой желтой бородкой, дядя Мендл держал свои знания при себе, полагая, что знания — это богатство, которое возвышает человека над другими. Возведя бедность в ранг святости, этот отпрыск богатой семьи жил почти в нищете.

Тетя Тойбе очень страдала от этого. К моменту свадьбы она, дочь билгорайского раввина, невеста сына реб Иццока из Горшкова, была весьма уважаема в городе. Но из-за чудачеств мужа она скоро опустилась.

Кроме того, дядя Мендл имел предрасположенность к чахотке, которую он передал своим детям.

Ею заболел старший сын. Ноте — возможно, разгоряченный, — выпил холодную воду.

Тете Тойбе оставалось только плакать. Зброшенная в маленьком Горшкове, достаточно наивная, она ограничила себя молитвой.

Однажды наша дверь отворилась, и вошел дядя Мендл с Ноте. Оба были хорошо одеты: это входило в правила дяди Мендла — для Субботы и поездок существовала праздничная одежда. Хватит того, что ходишь в отрепьях в Горшкове в будни. Дядя Мендл привез сына к доктору.

Этот незнакомый мне дядя внимательно оглядел меня и спросил:

— Ты учишься?

— Да.

— Ну, Торой сыг не будешь, — заметил он саркастически.

У него был острый язык коцкского хасида.

Папа радушно принял шурина, мама же была сердита на него, но не показывала этого. Ноте, высокий, широкоплечий, в новой модной одежде, с никелированными часами, выглядел завидным женихом.

— Что нового в Горшкове? — спросила мама.

— Там никогда ничего нового не бывает, — ответил дядя.

— Как Тойбе?

— Тойбе как Тойбе.

— А остальные дети?

— Они в Горшкове! Чего еще?

Он выразил удивление по поводу того, что в Варшаве почти невозможно перейти улицу. Все в отчаянной спешке куда-то бегут и почему-то галдят. Такая суета!

Специалист, к которому дядя Мендл повел сына, назначил ему три столовые ложки коньяка в день.

Многие предлагали свои советы. Одни говорили, что жизнь Ноте можно спасти, если повезти его в Отвоцк — нигде нет такого воздуха, как там, даже в Горшкове, окруженном сосновыми лесами. А один знающий человек рассказал, что его чахоточный родственник по рекомендации врача и с разрешения раввина ел свинину, разрешение было получено, поскольку речь шла о жизни и смерти. Говорили еще о человеке, у которого вместо больных легких впоследствии выросли новые... Кажется, доктор не велел Ноте жениться.

Для меня визит дяди явился событием. Мама задержала его допоздна, расспрашивая о знакомых. Дядя отвечал кратко.

— Он? Его дом сгорел дотла. Очень нуждается. Этот? Умер.

— Как? Когда?

— Это имеет значение?

Перед уходом дядя дал мне немного денег, но оставил нас расстроенными. Вскоре мы узнали, что Ноте умер.

Сестра Ноте живет теперь в Америке, богатая. Ее сын, офицер, погиб в войне с Японией.

В другой раз приехал дядя Эли, на самом деле двоюродный брат, но поскольку мы с его сыном Мойше были почти ровесники, я звал его дядей. Отца Эли (его тоже звали Мойше), первого мужа тети Сары, считали цади́ком, который мог разговаривать с Богом. Погруженный в Тору и возвышенные мысли, он обычно молчал. После его смерти тетя Сара осталась с тремя детьми и вышла замуж за Исроэла, торговца зерном.

У высокого, белокурого, благообразного, похожего на раввина дяди Эли был желтый цвет лица, отдававший восточной теплотой, словно Билгорай находился в Святой земле. Он носил две капоты, одна поверх другой. Жена его была из Ровно.

Мама спросила об их сыне Мойше, бывшем на год-два старше меня.

— Он учится и помогает в лавке.

— В лавке? В его годы?

— Он хорошо говорит и пишет по-польски.

Взглянув на меня с упреком, мама продолжала спрашивать.

— У него есть учитель?

— Да, но он учится сам и даже в арифметике преуспевает.

На сей раз мама даже не посмотрела в мою сторону, но лоб выражал достаточно.

— Что нового в нашем мире? — она имела в виду дом дедушки и раввинский суд в Билгоре.

Эли был неразговорчив, и маме приходилось тянуть из него слова.

Дядя Йосеф и дядя Иче рассорились. Тетя Рохл, жена дяди Иче, дочь раввина Ишаи Рахова, известного автора респонсов, не ладит со своей золовкой Сарой Чиж, женой дяди Йосефа. Дело в том, что бабушка оказывает больше внимания своему младшему сыну, Иче, кормит его марципанами и жареными голубями. Более того, вот уже двадцать лет семья дяди Иче, он сам, его жена и двое сыновей, живут у дедушки, и дядя Йосеф сходит с ума от зависти. При этом тетя Рохл, вместо того, чтобы с почтением и благодарностью относиться к бабушке, держится нагло и отпускает по ее адресу шуточки. Все настроены враждебно друг к другу.

Недавно власти Билгорая потребовали от евреев города выбрать себе казенного раввина,

знающего русский язык (дедушка-то не знал). Рассматривалась кандидатура Иче, но Йосеф, помощник раввина, выступил против него. Тем временем появился человек со стороны, Каминер, предложивший себя на должность раввина. Это вызвало немалый шум. Турисские хасиды поддерживали дядю Иче, горлицкие — Каминера, человека, как они утверждали, ученого. Сам Каминер или его сторонники послали в Люблин губернатору письмо против дяди Иче. Дедушка заперся в своем кабинете, отстранился от всего, читал священные книги и пил ежедневную порцию наливки. Волосы у него совсем поседели, и он походил на ангела Божьего. Мама, признавая вечную истину, качала головой и бледнела.

— Надеюсь, все кончится хорошо!

Она знала, что любой, кто попытается восстать против дедушки, играет с огнем. Любой, кто говорит с ним свысока, наверняка будет наказан. За ним стоит Небо. Пусть остерегаются!

— Боже, прости дураков! — говорила мама.

Но она была и против Иче, потому что он мог добиться от бабушки чего угодно. А что до Рохелле — подумай, дочь Ишаи Рахова! Он был благочестивым и ученым евреем, но отнюдь не гением. Что гениального — каждый год публично-

вать том для женщин на идише? Обыкновенный любитель, разумеется, никакого сравнения с дедушкой. Когда Иче был у своего тестя в Рахове, вспоминала мама, ему в супе подали крутые яйца! Что за местечковый обычай! Хуже того, мать Рохл настаивала на том, чтобы Иче мыл руки прямо перед тем, как она вынет халы из печи! Ишая Раховер просто-напросто провинциальный раввинчик из глуши, где обычаи сохранились со времен короля Собесского.

Я слушал зачарованно. Мое воображение уносило меня в Томашов и Рахов, к моим далеким родственникам, ожившим в рассказах мамы.

ПОЧЕМУ ГУСИ КРИЧАЛИ

В нашем доме всегда говорили о душах покойников, которые вселялись в живых людей и зверей, о домовых, подвалах, где таились демоны. Папа говорил о них, во-первых, потому, что это представлялось ему интересным, во-вторых, чтобы дети в большом городе не сбились с пути — они ходят куда угодно, все видят, читают светские книги. Время от времени необходимо напоминать им, что мир все еще находится во власти таинственных сил.

Однажды, мне было тогда восемь лет, он рассказал нам историю, вычитанную им в одной священной книге. Если не ошибаюсь, автором книги был рабби Элиёу Грейдикер или другой грейдикский раввин. Там рассказывалось о девушке, одержимой четырьмя демонами. Можно было видеть, как они ползали по ее внутренностям, раздували ее живот, переходили из одной части тела в другую,

скользили в ногах. Грейдикский раввин изгонял злых духов, дую в бараний рог, произнося заклинания, окуривая девушку волшебными травами.

Папа, рассказывая подобные истории, очень волновался и говорил:

— Что, грейдикский раввин был, упаси Бог, лжец? И все раввины, цадики и мудрецы лгут, одни только атеисты говорят правду? Горе нам! Как можно быть таким слепым?

Вдруг открылась дверь, вошла женщина с корзиной, в которой лежали два гуся. Вид у гостыи был испуганный. Парик сбит набок, она нервно улыбалась.

Папа никогда не смотрел на посторонних женщин, это, как известно, не рекомендуется еврейским законом. Но мама и мы, дети, сразу поняли, что женщина чем-то очень взволнована.

— Ребе, у меня к вам очень необычное дело, — обратилась она к отцу.

— Какое дело? — спросил папа.

— Дело, связанное с этими гусями.

— Ну и что с гусями?

— Дорогой ребе! Гуси зарезаны по закону. Я отрезала им головы, вынула внутренности, печень, все другие потроха, но гуси продолжают кричать, да так жалобно...

Папа побледнел, я тоже страшно испугался. Что касается мамы, то она происходила из семьи рационалистов и была по своей природе скептиком.

— Мертвые гуси не кричат, — заявила она.

— Вы услышите сами, — настаивала женщина.

Она вынула из корзины одного гуся. Положила его на стол, потом второго. Гуси были без голов, выпотрошенные — короче, обыкновенные мертвые гуси.

Мама улыбалась.

— И эти гуси кричат?

— Вы сейчас услышите.

Женщина швырнула одного гуся на другого, и сразу раздался звук, описать который нелегко. Похожий на гусиный гогот, он был таким пронзительным, таким необычным, полным такой муки, что я похолодел. Почувствовал, как волоски моих пейсиков встали дыбом и колются. Мне хотелось убежать из комнаты. Но куда? Страх сжал мне горло. Я закричал и вцепился в юбку матери, как трехлетний ребенок.

Папа забыл, что следует отвращать взгляд от женщины, и бросился к столу. Он был испуган не меньше, чем я. Рыжая борода его дрожала. В голубых глазах стоял страх, смешанный с сознанием

того, что не только грейдикскому раввину, но и ему послано небесное знамение. Но, может быть, послано злым духом, сатаной?

— Что вы скажете теперь? — спросила женщина.

Мама уже не улыбалась. В ее глазах было нечто вроде грусти, а также досада.

— Я не могу понять, в чем здесь дело, — сказала она с некоторым раздражением.

— Хотите услышать еще раз?

Женщина снова бросила одного гуся на другого. И снова мертвый гусь издал странный крик — крик обезглавленного существа, зарезанного шойхетом, но сохранившего жизненную силу, все еще пытаясь отомстить живущим за учиненную несправедливость. Меня пробрала дрожь...

Голос папы стал хриплым, прерывистым, будто он сдерживал рыдания:

— Ну, есть Создатель?

— Ребе, что мне делать, куда мне идти? — печально спрашивала женщина. — Что со мной случилось? Куда я пойду со своим горем? Может быть, обратиться к одному из цадииков? Зарезаны ли гуси по закону? Я боюсь нести их домой. Хотела приготовить их на субботний ужин, и такая беда! Святой ребе, что мне делать? Может, выбросить

их? Мне сказали, что их надо завернуть в саван и похоронить в могиле. Но я бедная женщина. Два гуся! Я столько отдала за них!

Папа не знал, что ей сказать. Он посмотрел на шкаф с книгами. Если ответ есть, то только в них!

Внезапно он сердито взглянул на маму:

— А что ты скажешь теперь, а?

Лицо мамы стало угрюмым, маленьким, обострилось. В глазах ее появилась досада и что-то вроде стыда.

— Я хочу услышать еще раз, — не то попросила, не то приказала она.

Женщина в третий раз швырнула одного гуся на другого. И снова раздался крик. Мне пришло в голову, что так кричит телец на заклании. Папа опять заговорил:

— Горе, горе, а они все кощунствуют! Сказано, что грешники не раскаиваются даже у самых врат ада. Они видят правду собственными глазами и продолжают отрицать Творца своего. Их тащат в пропасть бездонную, а они утверждают, что это «природа», «случайность»!

Он посмотрел на маму, как бы желая сказать:

— Ты идешь вслед за ними!

На некоторое время воцарилось молчание. Потом женщина спросила:

— Ну так что? Я выдумала все это?

И тут мама засмеялась. В смехе этом было нечто, заставившее всех нас задрожать. Я каким-то шестым чувством понял, что мама готовится закончить страшную драму, разыгравшуюся у нас на глазах.

— Скажите мне, вы пищеводы вынули из гусей? — спросила она женщину.

— Пищеводы? Нет.

— Выньте их, — посоветовала мама, — и ваши гуси перестанут кричать.

— Что ты болтаешь? При чем тут пищеводы? — рассердился папа.

Мама засунула палец в одного из гусей и, напугавшись, вытянула из него тонкую трубочку, ведущую от горловины к легким. То же самое проделала она и с другим гусем. Я дрожал, потрясенный смелостью матери. Руки ее были в крови. Лицо отражало гнев рационалиста, которого пытались напугать средь бела дня.

Папа был бледный, лицо его выражало смирение и некоторое разочарование. Он понял, что происходит: логика, холодная логика вновь опрокинула веру, издеваясь над ней, выставляя ее на посмешище и презрение.

— Теперь возьмите, пожалуйста, одного гуся и стукните его о другого, — распорядилась мама.

Все висело на волоске. Если гуси закричат, рационализму и скептицизму матери, унаследованным ею от своего умника отца-миснагеда³, будет нанесен ощутимый удар. А что я? Напуганный, я в душе все же хотел, чтобы гуси закричали, закричали так громко, что люди на улице услышат и убегутся.

Увы, гуси молчали, как и следует мертвым птицам без голов и пищеводов.

— Дай полотенце! — повернулась ко мне мама.

Я побежал за полотенцем. На глазах у меня были слезы. Мама вытерла руки полотенцем, как хирург после трудной операции.

— Вот что это было! — победно произнесла она.

— Ребе, что скажете вы? — спросила хозяйка гусей.

Папа стал кашлять, что-то бормотать.

— Я никогда не слышал о подобном, — признался он.

— И я, — присоединилась к нему мама. — Но все можно объяснить. Мертвые гуси не кричат.

— Я могу пойти домой и жарить их? — спросила женщина.

³ «Противник», представитель нехасидского еврейства (*иврит*).

— Пойдите домой и приготовьте их на Субботу, — посоветовала мама. — Не бойтесь. Они не станут кричать на противне.

— Что скажете вы, ребе?

— Хм... Они кошерные, — пробормотал папа, — их можно есть.

На самом деле он не был вполне уверен в этом, но не решился объявить гусей трефными, ведь и закон — миснагед.

Мама вернулась на кухню. Вдруг папа заговорил со мной, как со взрослым.

— Она пошла в твоего дедушку, билгорайского раввина. Он большой ученый, но холодный миснагед. Меня предупреждали об этом еще до нашей свадьбы...

И папа вскинул руки так, как если бы хотел сказать: «Теперь уже поздно отменять брак».

ДЕНЬ НАСЛАЖДЕНИЙ

В хорошие времена я получал от папы или мамы монетку в два гроша, т. е. копейку. Эта монетка заключала в себе для меня все наслаждения мира. Напротив нашего дома была кондитерская Эстер, где продавали шоколад, мармелад, мороженое, карамели и всевозможные пирожные. У меня была слабость к цветным карандашам, но они стоили дорого, и копейка не казалась уже такой большой суммой, как представлялось моим родителям. Иногда мне приходилось занимать деньги у товарища по хедеру, юного ростовщика, под проценты: за каждые четыре гроша я платил ему грош в неделю.

Вообразите, как была велика моя радость, когда я заработал однажды целый рубль.

Я уже не помню подробностей, но, вероятно, происходило примерно так. Кто-то заказал сапожнику пару сапог из козьей кожи, но они оказались

то ли слишком узки, то ли широки. Заказчик заявил, что не возьмет их, и сапожник привел его на суд раввина, моего папы. Папа послал меня к другому сапожнику, чтобы тот оценил сапоги, а то и купил бы их, поскольку он также торговал готовой обувью. Действительно, у второго сапожника нашелся покупатель, готовый хорошо заплатить за сапоги. Я забыл детали, но помню, что в конце концов был вознагражден целым рублем.

Я знал, что, если останусь дома, рубль погибнет. Мне купят на него что-нибудь из одежды, которую купили бы и без того, или займут его у меня и, хотя не будут отрицать долга, никогда не отдадут его. Поэтому я решил взять рубль и позволить себе насладиться тем, что есть в мире, всем тем, чего жаждала моя душа.

Я быстро прошел Крохмальную, где все слишком хорошо знали меня. Здесь нельзя было разрешить себе мотовство. На соседней улице меня не знали. Я помахал кучеру дрожек, он остановился.

- Чего ты хочешь?
- Ехать.
- Куда ехать?
- На другую улицу.
- На какую?
- На Налевки.

— Это будет стоить сорок грошей. У тебя есть такие деньги?

Я показал ему свой рубль.

— Но ты должен заплатить вперед.

Я дал ему рубль, он попробовал согнуть его, не фальшивый ли. Потом отсчитал мне сдачу, четыре монеты по сорок грошей. Я влез в дрожки. Кучер щелкнул кнутом, и я чуть не свалился со скамьи. Сиденье подо мной подпрыгивало на пружинах. Прохожие смотрели вслед мальчику, который ехал на дрожках один и без всяких пакетов. Дрожки пробирались среди трамваев, других дрожек, телег, фургонов. Я чувствовал, что внезапно стал таким важным, как взрослые. Боже мой, если б только можно было так ехать тысячу лет, день и ночь, не останавливаясь, до края света...

Но кучер оказался нечестным человеком. Мы проехали лишь полпути, когда он остановился и потребовал:

— Слезай! Хватит!

— Но ведь это еще не Налевки! — удивился я.

— Хочешь попробовать кнута? — пригрозил мне кучер.

О, был бы я Самсоном Могучим, знал бы, как поступить с таким бандитом! Я бы разрубил его на

мелкие куски, истолок в порошок! Но я только маленький мальчик, а у него кнут...

Я слез, пристыженный и несчастный. Но сколько можно горевать, если у тебя в кармане еще остается четыре двугривенных? В ближайшей кондитерской я купил всего понемножку. При этом я все пробовал. Покупатели подозрительно смотрели на меня: наверное, они думали, что я украл деньги. Одна девушка воскликнула:

— Посмотрите только на этого хасидика!

— Эй, сосунок! Черт бы побрал сына твоего отца! — крикнул мне какой-то парень.

Я ушел, унося покупку. Потом добрался до парка Красинского и съел там некоторые из своих сладостей. Мальчику, проходившему мимо, я предложил плитку шоколада. Он схватил ее и убежал, даже не поблагодарив меня. Я обошел пруд и покормил шоколадом лебедей. Женщины смеялись и показывали на меня пальцами, они говорили обо мне польски. Ко мне подходили нарядно одетые девочки с мячами и обручами, и я, как рыцарь, щедро угощал их шоколадом. Я чувствовал себя богатым аристократом, распределяющим милости.

Сладости скоро кончились. У меня же было еще немного денег, и я опять решил взять дрожки. Кучер спросил, куда меня везти. Я хотел назвать

Крохмальную улицу, но что-то невидимое во мне произнесло:

— На Маршалковскую!

— Номер дома?

Я назвал первый, что пришел на ум. Этот кучер, честный человек, не попросил денег вперед и отвез меня, куда я просил. По пути рядом с нами оказались другие дрожки, в которых сидела дама в большой шляпе со страусовыми перьями. Мой кучер разговорился с ее кучером, говорили они по-еврейски, что даме совсем не нравилось. Она сердито смотрела на меня. Время от времени оба кучера останавливались, чтобы пропустить трамвай или тяжело груженную телегу. Городовой, стоявший близ трамвайного пути, уставился на меня, на даму. Мне казалось, что он сейчас подойдет и арестует меня, но он захохотал, и я страшно испугался. Я боялся Бога, боялся родителей, а также того, что в кармане внезапно обнаружится дыра, и мои деньги выпадут. А что если кучер разбойник, везущий меня в темную пещеру? Или волшебник? Или все это только сон? Но нет, кучер не был разбойником и не отвез меня к двенадцати ворах в пустыню. Он привез меня точно по указанному мной адресу, к большому дому с воротами, и я отдал ему двадцать грошей.

— Кого ты хочешь видеть? — спросил он.

— Доктора, — ответил я, не колеблясь.

— А что с тобой?

— Я кашляю.

— Ты сирота?

— Да.

— Приезжий?

— Да.

— Откуда?

Я назвал какой-то город.

— Ты носишь талес-котн?⁴

Я промолчал. Какое ему дело? Я хотел, чтобы он быстрее отъехал, а он не спешил. Мне пришлось войти в ворота, за которыми находилась огромная собака. Она посмотрела на меня проницательным взглядом, как бы давая мне понять:

— Ты можешь дурачить извозчика, но не меня. Я-то знаю, что тебе здесь нечего делать.

И открыла пасть, полную острых зубов. Тут же появился сторож.

— Что тебе нужно? — поинтересовался он.

⁴ «Малый талес» (*иврит*). Четырехугольное полотнище с кистями по углам, в центре которого — круглый вырез, чтобы можно было продеть голову. Иудеи носят талес-котн постоянно, под верхней одеждой.

Я пытался что-то лепетать, он замахнулся на меня метлой и крикнул:

— Пошел вон отсюда!

Я побежал, собака громко лаяла мне вслед. Извозчик, вероятно, видел мой позор. А может ли маленький мальчик сражаться с метлой, сторожем и собакой?

Дела мои шли неважно. Правда, оставались еще какие-то деньги, а с деньгами можно везде найти удовольствие. Я вошел во фруктовую лавку и попросил дать мне первый фрукт, который увидел. Чтобы расплатиться за него, у меня едва хватило денег, пришлось расстаться с последними грошами. Не помню, какой это был фрукт. Может быть, гранат или что-нибудь столь же экзотическое. Я не сумел его очистить, ел с кожей, и был он горький, как яд. Тем не менее я съел его целиком, а потом почувствовал страшную жажду. Хотелось лишь одного — пить! О, были бы у меня тогда деньги! У меня уже ничего не было. И хуже того, я находился далеко от дома.

Я пошел пешком и внезапно почувствовал гвоздь в башмаке. С каждым шагом он вонзался мне в ногу. Почему он обнаружился именно сейчас? Я остановился в подворотне, где не было ни собак, ни сторожей. Снял башмак. Внутри дейст-

вительно был гвоздь, пробившийся сквозь стельку. Я засунул в башмак бумагу и пошел дальше. С каждым шагом гвоздь вонзался мне в ногу. Я подумал, как должно быть больно лежать на ложе из гвоздей в аду! Сегодня я совершил много грехов. Ел сладости, не благословив их, не дал ни гроша из всех своих денег бедным. Только жрал.

Домой я добирался два часа. По дороге меня осаждали всевозможные мрачные мысли. Может быть, дома случилось что-то страшное. Может быть, я не солгал, когда назвал себя извозчику сиротой, и в тот момент на самом деле осиротел. Может быть, у меня нет ни папы, ни мамы, ни дома. Может быть, мое лицо изменилось, как у человека из книги, которую я читал, и родители меня не узнают, когда я приду. Все может быть! Меня оставил какой-то парень:

— Где ты был? Твоя мамочка везде ищет тебя!

— Я был на Праге, ехал на трамвае, — соврал я просто так, чтобы соврать.

Уж если ты ел, не благословляя, пищу и совершал другие грехи, можно делать что угодно, — один ответ.

— К кому ты ходил на Праге?

— К тете.

— С каких пор у тебя на Праге тетя?

— Она только что приехала.

— Брось болтать. Мать тебя ищет. Поклянись, что был на Праге.

Я ко всему еще поклялся. И пошел домой, усталый, потный — пропащая душа. Бросился к крану и начал пить, пить. Вероятно, с такой жадностью Исав поедал чечевичную похлебку, за которую продал свое первородство. Мама ломала руки.

— Посмотрите только на этого ребенка!

К ДИКИМ КОРОВАМ

За все годы жизни в Варшаве я ни разу не оставлял города. Другие мальчики рассказывали о своих поездках в каникулы «на дачу» в Фалениц, в Мидзешин, Михалин, Свицер, Отвоцк — для меня это были лишь названия. На Крохмальной улице не росли деревья. Возле дома № 24, куда я ходил в хедер, стояло дерево, но это было далеко от нашего дома. У некоторых соседей на окнах стояли цветы в горшках, мои родители считали это не еврейским обычаем. У меня, однако, была врожденная любовь к природе. Летом я иногда находил на яблоке листок, и он пробуждал во мне одновременно радость и тоску. Я отрывал листок и носился с ним, пока он не завянет. Мама приносила домой пучок моркови, петрушку, красную редиску, огурцы — и каждое растение напоминало мне о Радзимине, где меня окружали поля и сады. Как-то я нашел в своем соломенном тюфяке целый колос, пробудив-

ший во мне много мыслей. Среди прочего, я вспомнил о сне египетского фараона, в котором семь тощих колосьев пожрали семь тучных...

Много разных мух присаживалось на перила нашего балкона: больших, маленьких, темных, золотисто-зеленых. Когда туда опускалась бабочка, я не пытался схватить ее, а задерживал дыхание и смотрел, пораженный. Это маленькое крылатое существо, казалось, посылало привет из мира свободы.

Но Мать-Природа трудилась даже на Крохмальной. Зимой падал снег, летом шли дожди. Высоко над крышами проплывали облака — темные, светлые, некоторые из них сверкали, как серебро, некоторые походили на рыб, змей, овец. Иногда на балкон попадал град, а однажды после дождя над крышами протянулась радуга. Папа велел мне прочесть молитву «Тот, кто помнит договор с Господом». Ночью сияла луна, появлялись звезды. Все это было великой тайной.

Мой друг Борух-Довид рассказывал о полях и пустошах, лежащих близ Варшавы. О диких коровах, которые там пасутся. Я просил его взять меня с собой туда. Он обещал, но под разными предлогами как мог откладывал выполнение обещанного. В конце концов ему пришлось выбирать: выполнить обещание или потерять мою дружбу.

И вот однажды летом, в пятницу, я встал очень рано, так рано, что небо еще горело от рассвета. Я что-то сочинил матери, положил в бумажный пакет несколько кусков хлеба с маслом, прихватил копейку, как-то сэкономленную из того, что давали мне родители, и отправился на встречу с Борухом-Довидом. Я никогда не выходил в такую рань, казалось прохладнее, свежее обычного, все вокруг напоминало пейзаж из книжки. Попадавшиеся камни были сырыми, и Борух-Довид объяснил мне, что это роса. Выяснилось, что даже на Крохмальной есть роса. Я-то думал, что она выпадает лишь на Земле Израиля.

Не только улицы, но и люди выглядели более свежими. Я обнаружил, что рано утром на нашу улицу приезжает множество телег, на которых из близлежащих деревень привозят овощи, цыплят, гусей, уток, свежие куриные яйца (не те, что в лавке у Зельды, хранившиеся в извести). На Мировской площади, за крытым рынком находился оптовый рынок фруктов, где было представлено все изобилие пригородных садов: яблоки, груши, вишни, крыжовник, смородина. Там продавались также фрукты и овощи, которые большинство еврейских детей никогда не пробовало: помидоры, цветная капуста, зеленый перец. В крытом рынке

можно было купить гранаты и бананы, но это делали только богатые дамы, чьи корзины несли сопровождавшие их служанки.

Мы с Борухом-Довидом шли очень быстро, при этом друг рассказывал мне невероятные истории. Так, его отец как-то отправился пешком из Варшавы в Скерневице и встретил на дороге дикого человека. Я заинтересовался внешностью этого человека, и Борух-Довид описал мне его подробно. Высокий, вместо кожи чешуя, волосы до земли, а посреди лба рог. Завтракает такое существо живыми детьми. Я испугался и спросил:

— А дикие люди не могут напасть на нас?

— Нет, они далеко от Варшавы.

Мне не следовало быть таким доверчивым. Но я верил каждому слову Боруха-Довида.

После Налевок и Муранова дорога вела уже за город. Я увидел широкие луга, покрытые травой и всевозможными цветами, горы, о каких никогда не подозревал. Наверху это были действительно горы, но подножье образовывали каменные стены с маленькими окнами, зарешеченными железом.

— Что это? — спросил я.

— Цитадель.

Меня охватил ужас. Я слышал о цитадели, в которой сидят те, кто пытался свергнуть царя.

Нам еще не повстречалась ни одна дикая корова, но я мог наблюдать странные и чудесные вещи. Небо здесь было не узеньким клочком, как на Крохмальной, а широким, и раскинулось оно, как океан, опускалось на землю, словно райский занавес. Летали стаи птиц, они чирикали, свистели, каркали. В воздухе пахло землей, травой, паровозным дымом и чем-то еще — все это ослепило меня, закружило голову. Была здесь странная тишина, и все же что-то шептало, шуршало, скрипело. Прилетевший откуда-то лепесток сел мне на лацкан. Я посмотрел на небо, увидел солнце, облака и внезапно ясно понял смысл слова «Творение». Значит, таким Господь создал мир: земля, небо, воды наверху, отделенные небосводом от вод внизу.

Взобравшись с Борухом-Довидом на холм, мы увидели внизу под собой Вислу. Половина реки сверкала серебром, другая была зеленой, как желчь. Мимо проплыл белый парусник. Сама река была в движении, направлялась куда-то со стремительностью, напоминавшей о чудесах, о пришествии Мошиаха.

— Это Висла, — сообщил мне Борух-Довид. — Вот так она течет до Данцига.

— А потом?

— Потом в море.

— А где левиафан?

— Далеко, на краю света. Значит, книги все-таки не врут: мир полон чудес. Стоит только пройти Муранова и еще одну улицу — и ты уже среди чудес. Край света? Разве это не край света?

Паровозы свистели, но поездов не было видно. Дули свежие ветерки, и каждый приносил свой аромат — такой, который давно забыт или о котором никогда не мечтал. Откуда-то прилетела пчела, села на цветок, понюхала и полетела на другой.

— Она хочет собрать мед, — объяснял Борух-Довид.

— Она может укусить?

— Да, и у нее специальный яд.

Он, Борух-Довид, знал все. Один я не нашел бы дорогу домой. Я даже забыл, где Варшава. Он же чувствовал себя, как в собственном дворе. Вдруг он побежал, сделав вид, будто бежит от меня, упал в траву и пропал, исчез! Я оказался один в мире — заблудившийся ребенок, как в книге!

— Борух-Довид! — позвал я. — Борух-Довид!

Но голос мой повторяло эхо, и только. Эхо было, как в синагоге, но оно шло издалека, мой голос искажался и пугал меня.

— Борух-Довид! Борух-Довид!

Я понимал, что он шутит, хочет попугать меня, и тем не менее боялся. Мой голос прерывали рыдания.

— Бооорух! До-ви-д!

Он появился, черные глаза его, как у цыгана, сверкали, смеялись, он стал бегать вокруг меня, как теленок. Полы его одежды развевались по ветру, жилетку раздувало, он стал похож на дикое существо на лоне природы.

— Ладно, пойдем к Висле!

Тропинка вела вниз, так что нам пришлось не идти, а бежать. Казалось, ноги несутся сами. Я удерживал свои, чтобы они не летели слишком быстро и не внесли меня прямо в воду. Но вода оказалась дальше, чем я думал. Пока я бежал, река стала широкой, как океан. Дюны из камешков и влажного песка, до которых мы добрались, были длинные и все в морщинах, напоминали гигантские пирожки, сделанные детьми из песка. Борух-Довид снял башмаки, закатал штаны и вошел в воду по щиколотки.

— Ух! Холодно!

Он велел и мне разуться. Я был потрясен: ходить босиком добропорядочным еврейским детям не полагалось.

— Тут есть какая-нибудь рыба? — поинтересовался я.

— Да, рыбы полно.

— Она кусается?

— Иногда.

— Что ты сделаешь, если рыба тебя укусит?

— Я схвачу ее за хвост.

В сравнении со мной Борух-Довид представлял собой деревенского парня, мужика. Я сел на камень, все внутри меня текло, журчало, под стать водам Вислы. Мозг колыхался вместе с волнами, и мне чудилось, что не только Висла, но все вокруг меня: горы, небо, я сам — колышется, течет вдаль, к Данцигу. Борух-Довид показал на другой берег:

— Вон там Пражский лес.

Это означало, что недалеко от меня настоящий лес, полный диких зверей и разбойников.

Внезапно произошло нечто исключительное. Слева, где небо встречалось с землей, что-то появилось, оно плыло, но это не был корабль. Поначалу маленькое, сокрытое дымкой, оно становилось все больше и отчетливее. Это оказалась группа плотов из бревен, люди опирались на длинные шесты и, налегая всем телом, двигали их вперед. На одном из плотов была маленькая хижина — домик на воде! Даже Борух-Довид уставился на нее, раскрыв рот.

Очень, очень долго плоты приближались к нам. Мужчины что-то кричали. Я заметил одного, с бородой, похожего на еврея. Мне казалось даже, что я могу различить ермолку на его голове. Я знал, читал об этом в притчах Дубненского магида, что еврейские купцы ездят в Данциг и Лейпциг. Кто-то говорил, что они сплавляют лес по воде. Теперь я видел все это своими глазами! Через некоторое время плоты были уже рядом с нами. На краю одного стояла собака и лаяла прямо на нас. Плохо бы нам пришлось, если бы она могла прыгнуть через воду! Разорвала бы в клочья! Вскоре плоты проплыли дальше. Время шло, солнце уже достигло середины неба и двигалось теперь на запад. Только после того, как плоты исчезли за мостом, мы отправились назад, но не тем путем, которым пришли, а другим.

Я вспомнил о диких коровах, хотел спросить Боруха-Довида, где они. И неожиданно я понял, что дикие коровы и дикий человек — лишь плоды его воображения. Мы никогда бы их не встретили. Когда я заговорил о диких коровах с мамой, она отнеслась к ним так же скептически, как к гусям, которые кричали.

— Почему же их не ловят и не продают молочникам? И как это так, что их видел только твой друг Борух-Довид?

Солнце стало красным. Мама наверняка начинает тревожиться, она у нас такая нервная. Мы ускорили шаг, каждый погрузился в собственные мысли, а над нашими головами играли птицы, сияли в свете заката золотым и красным окна цитадели.

Я подумал о тех, кто лежит там в цепях за то, что пытались сбросить царя. Казалось, я вижу их глаза, и внезапно все наполнилось особенной торжественной грустью кануна Субботы.

ТАЙНЫ КАБАЛЫ

На Крохмальной улице нас знали все. Мой друг Мендл и я часами бродили по ней взад и вперед, моя рука лежала на его плече, а его — на моем. Увлеченно рассказывая друг другу разные истории, мы натыкались на корзины с фруктами, овощами, и рыночные торговки кричали нам:

— Ослепли вы, что ли?

Мне было примерно десять лет, Мендлу — одиннадцать. Я был худой, с белой кожей, цыплячьей шеей и рыжими волосами. Пейсики мои всегда раздувались, словно на ветру, карманы расстегнутого сюртука отвисали от книжек, которые я брал читать по две за грош. Я не только штудировал Талмуд, но и пытался осилить отцовские тома кабалы, хотя мало что в них понимал. На последних страницах этих книг я цветными карандашами рисовал шестикрылых ангелов, двуглавых зверей с глазами на хвостах, рогатых

чертей со змеиными туловищами и козлиными ногами. По вечерам, стоя на балконе, я вглядывался в усыпанное звездами небо и думал о том, что было до сотворения мира. Дома все предсказывали мне, что я вырасту и буду сумасшедшим философом, вроде того немецкого профессора, который много лет размышлял и философствовал, пока не решил, что люди должны ходить вниз головой и вверх ногами.

Отец моего друга Мендла был разносчиком угля. Каждый месяц он приносил огромную корзину угля для наших плит, и мама давала ему копейку. Мендл был выше меня, смуглый, как цыган, его черные волосы отливали синевой. Нос у него был короткий, подбородок раздвоенный, а глаза косые, как у татарина. Ходил он в старой капоте и рваных ботинках. Жила семья Мендла на Крохмальной, 13. Мать его была кривой и торговала за рынком посудой.

У нас обоих была одна страсть — что-то придумывать. Мы никогда не уставали слушать друг друга. В тот летний вечер, когда мы проходили через базар Яноша, Мендл вдруг остановился. У него была тайна. Он сообщил, что отец его вовсе не угольщик. Это только маскировка. На самом деле он богаче Ротшильда. У него есть

дворец в лесу и замок у моря, полный золота, серебра и алмазов.

— Поклянись талесом, что никому не скажешь.

Я поклялся и спросил Мендла, как его отец так разбогател. Он предложил:

— Давай расщепим соломинку.

Мы взяли соломинку за концы и разорвали ее. В татарских глазах Мендла появилась мечтательная улыбка, он открыл рот, обнажив необыкновенно белые, как у цыгана, зубы и признался:

— Мой отец — разбойник.

Я похолодел.

— Кого он грабит?

— Он роет туннели в банки и крадет оттуда золото. С награбленным уходит в лес и ждет там купцов. У него есть ружье и сабля. Он колдун, может залезть в ствол дерева, даже если там не видно дыры.

— Зачем же ему разносить уголь? — удивился я.

— Чтобы полиция не догадалась...

Мендл сказал мне, что под началом у отца тысяча двести воров, которых он посылает в разные места грабить и приносить ему добычу. Одни плавают в морях и нападают на корабли, другие

останавливают караваны в пустыне. Кроме матери, у него двенадцать наложниц, пленных принцесс. Сам Мендл после бар-мицвы тоже станет разбойником. Он женится на принцессе, которая живет во дворце на другом берегу реки Самбатинон и ждет, когда придет ее жених Мендл. У нее золотистые волосы до земли, а на ногах золотые туфельки. Отец приковал ее цепью к столбу, чтобы она не сбежала.

— А почему она хочет сбежать? — спросил я.

— Потому что скучает по матери.

Я понимал, что все это неправда, и даже знал, из каких притч это заимствовано, тем не менее с большим интересом слушал его рассказ. Мы стояли у рыбного рынка, карпы, щуки и голавли плавали в бочках с водой. Был четверг, и хозяйки покупали рыбу к Субботе. Слепой нищий в темных очках, с пушистой седой бородой, пощипывая струны мандолины, пел душераздирающую песню о гибели «Титаника». На его плече сидел попугай и чистил клювом перышки. Жена нищего, молодая, проворная, как танцовщица, собирала в барабан милостыню. Солнце садилось над районом Воли. Оно было больше обычного, желтое и золотое. Вдалеке огромное желтое облако сверкало, как огненная река на горящих углях.

Это заставило меня вспомнить об огненной геенне, в которой карают грешников.

Мы с Мендлом были очень дружны. Но между нами шло безмолвное соперничество. Он завидовал мне, сыну раввина, живущему в квартире из двух комнат, с кухней и балконом. И всегда старался доказать, что он сильнее, умнее и больше читал, чем я. Мне хотелось придумать что-то столь же интересное, как и у Мендла, или даже интереснее.

— У меня тоже есть тайна, — вдруг заявил я.

В татарских глазах Мендла появилась насмешка.

— Какая тайна?

— Поклянись, что никому не скажешь.

Мендл поклялся, фальшиво улыбаясь. Казалось, что он даже подмигивает кому-то.

— Я знаю кабалу! — выложил я. Глаза Мендла превратились в щелочки.

— Ты? Как ты можешь знать?

— Меня научил папа.

— А это разрешено — учить мальчика кабале?

— Я не такой, как другие.

— Ну!.. И чему ты научился?

— Я могу создавать голубей. Могу извлечь вино из стены. Прочесть заклинание и взлететь в воздух.

— Что еще?

— Могу шагать семимильными шагами.

— Что еще?

— Могу сделаться невидимым. И превращать камни в жемчуг.

Мендл принялся крутить свои пейсы. В отличие от моих, они были туго закручены, образовывали два маленьких рожка.

— Тогда у тебя должно быть много денег — больше, чем у самого богатого человека в мире.

— Конечно.

— Почему же у тебя их нет?

— Кабалу не разрешается использовать, это очень опасно. Есть такое заклинание, если его произнести, небо станет красным, как огонь, море заволнуется, волны поднимутся до облаков. Все звери утонут, все дома рухнут, откроется пропасть, и везде будет темно, как в полночь.

— А как оно произносится?

— Ты хочешь, чтобы я разрушил мир?

— Н... н... нет.

— Когда я вырасту, пророк Илия разрешит мне полететь в Святую землю. Там я буду жить в развалинах и приведу Мошиаха.

Мендл опустил голову, увидел на тротуаре бумажку, поднял ее и принялся складывать «голу-

бя». Я ожидал вопросов, но он упорно молчал. И я сразу почувствовал, что из-за тщеславия пересолил. Виноват был Мендл: это он побудил меня к чрезмерному хвастовству. Я испугался собственной фантазии — с кабалой шутки плохи, мне могут присниться ужасные кошмары.

— Мендл, пойдем домой, — предложил я.

Мы пошли к воротам, которые вели на Мировскую улицу, уже не обнявшись, а немного отстранясь друг от друга. Беседа не только не сблизила нас, а, напротив, отдалила. Но почему? Я вдруг обратил внимание на то, как оборван Мендл. Носок его левого башмака раскрывался как пасть, гвозди торчали, словно зубы. Мы вышли на грязную Мировскую, усыпанную соломой с крестьянских телег, гнилыми фруктами, брошенными торговцами. На пути от одного городского рынка до другого находилось здание, где приготавливали лед. На улице был еще день, но там горел свет. Быстро крутились колеса, кожаные ремни, сигнальные огоньки сами то зажигались, то гасли. Изнутри доносились странные звуки. Под ногами сквозь решетку мы видели подвалы с лоханями, полными воды, которая превращалась в лед. И ни одного человека. Мы с Мендлом долго стояли, молча смотрели, потом пошли дальше.

— А кто ее кормит? — поинтересовался я наконец.

Мендл, казалось, очнулся.

— О чем ты?

— О девушке в золотых туфельках.

— Там есть служанки.

Недалеко от второго рынка я увидел две монеты, две медные трехкопеечные монеты, лежавшие рядышком, будто кто-то положил их на тротуар. Я нагнулся, чтобы поднять их. Мендл тоже увидел монеты и крикнул:

— На двоих!

Я сразу же дал ему одну, подумав, что найди монеты он, то не поделился бы со мной... Мендл оглядел монету со всех сторон и спросил:

— Если ты умеешь превращать камни в жемчуг, зачем тебе три копейки?

Я бы с удовольствием спросил его:

— Если твой отец такой богатый разбойник, зачем три копейки тебе?

Но что-то остановило меня. Я видел, какая желтая у него кожа, как выдаются скулы. Его лицо что-то говорило мне, но что именно — я не мог определить. Уши его прижались к щекам, ноздри раздувались, как у лошади, углы рта скривились от зависти, черные глаза испытывали меня.

— Что ты сделаешь со своими деньгами? Купишь конфеты? — спросил он снова.

— Я отдам их нищему, — ответил я.

— Вон, вон сидит нищий.

Посреди тротуара на доске с колесиками сидела половина человека. Казалось, его распилили пополам. Обеими руками он сжимал две деревянные, подбитые тканью, опираясь на них. На нем была шалка с козырьком, надвинутым на глаза, и рваная куртка. На шее висела кружка для подаяния. Я прекрасно знал, что можно купить на три копейки: цветные карандаши, книжку, халву, но какая-то гордость велела мне не колебаться, я бросил монету в кружку. Калека, будто опасаясь, что я передумаю, попрошу деньги обратно, отъехал так быстро, что чуть не перевернулся.

Мендл сдвинул брови.

— Когда ты учишь кабалу? Ночью?

— После полуночи.

— Так что происходит сейчас на небе?

Я поднял глаза вверх. Небо было красным, с черными и синими полосами посередине. Казалось, приближается гроза. Пролетели две птицы, криком призывая одна другую. Появилась луна. Минуту назад еще был день, теперь наступила

ночь. Торговки на улице быстро собирали свой товар. Человек с длинной палкой переходил от одного столба к другому, зажигая фонари. Я хотел ответить Мендлу, но не знал, что сказать. Мне стало стыдно за свое хвастовство, как если бы я внезапно стал взрослым.

— Мендл, хватит врать, — проявил я инициативу.

— А в чем дело?

— Я не знаю кабалы, а твой отец не разбойник.

Мендл остановился.

— Ты злишься, потому что отдал нищему три копейки?

— Я не злюсь. Если бы у тебя был дворец в лесу, ты не носил бы уголь для Хаима-Лейба. И у тебя нет девушки в золотых туфлях. Это все сказки.

— Так ты хочешь поссориться? Думаешь, если твой отец раввин, я буду тебе угождать. Возможно, я и врал, но ты никогда не узнаешь правды.

— А что тут знать? Ты все придумал.

— Я стану бандитом. Настоящим.

— Тогда тебя изжарят в геенне.

— Пусть изжарят! Я влюбился!

Я посмотрел на него, потрясенный.

— Опять врешь!

— Нет, это правда. Не уйти мне с этого места, если вру!

Я знал, что Мендл не будет напрасно клясться. Меня бросило в холод, как будто моих ребер коснулись ледяные пальцы.

— В девочку?

— В кого же еще? В мальчика? Она живет в нашем дворе. Мы обручены. Мы поедem к моему брату в Америку.

— Тебе не стыдно?..

— Яков тоже был влюблен. Он целовал Рахиль. Это написано в Торе.

— Девчоночник!

И я побежал. Мендл кричал что-то вслед. Мне представилось, что он гонится за мной. Я бежал, пока не достиг радзиминского молельного дома. У его дверей я увидел молящегося отца Мендла — высокого, худого, сгорбленного, с выступающим кадыком. Лицо его было черное, как у трубочиста. Я вообразил, будто он просит у Всевышнего прощения за то, что сын богохульствовал. У восточной стены стоял мой отец в бархатной капоте и шляпе с широкими полями. Он раскачивался взад и вперед, головой касаясь стены. В меноре горела одна свеча. Да, я еще не знал кабалы, но понимал, что все произошедшее сегодня со мною

наполнено ее тайнами. Я ощутил печаль, такую глубокую, как никогда раньше. Когда отец закончил молиться, я подошел к нему и сказал:

— Папа, мне надо поговорить с тобой.

Услышав мой серьезный тон, отец внимательно посмотрел на меня своими голубыми глазами.

— В чем дело?

— Папа, я хочу, чтобы ты учил меня кабале.

— Вот как? Но в твоём возрасте не разрешается изучать кабалу. Написано, что эти тайны нельзя доверять человеку моложе тридцати лет.

— Папа, я хочу сейчас.

Отец погладил свою рыжую бороду.

— Что за спешка? Можно быть порядочным человеком без кабалы.

— Папа, можно ли заклинанием уничтожить мир?

— Древние святые могли все. Мы не можем ничего. Пойдем домой.

Мы пошли к воротам, где стояла Ривка, дочь пекаря, с корзинами, полными свежих булок, хлеба, бубликов — горячих, прямо из печи. Мы с отцом вышли на улицу, освещенную желтым светом газовых фонарей. Между двумя трубами, извергающими дым и искры, висела большая кроваво-красная луна.

— Это правда, что там живут люди? — спросил я.

Отец помолчал.

— Почему ты так думаешь? Ничего неизвестно. Кабала — только для крепких мозгов. Если слабый маленький мозг погрузится в нее, можно сойти с ума.

Слова отца испугали меня. Я почувствовал, что близок к помешательству.

— Ты еще мальчик, — продолжал отец. — Когда ты с Божьей помощью вырастешь, женишься, поумнееешь, тогда поймешь, что тебе нужно делать.

— Я не собираюсь жениться.

— А что еще? Останешься холостяком? Написано: «Он создал мир не напрасно. Он создал мир, чтобы в нем обитали». Ты вырастешь, тебе найдут девушку, обручат с ней.

— Какую девушку?

— Кто может сказать наперед?

В этот момент я понял, почему мне так грустно. На улице было много девушек, но я не знал, с которой буду обручен. Она, единственная, предназначенная мне, тоже не знала. Возможно, оба мы покупали конфеты в одной лавке, проходили мимо друг друга, смотрели друг на друга, не зная,

что будем мужем и женой. Я стал вглядываться в толпу. Улица была полна девочек моего возраста, кто чуть моложе, кто постарше. Одна облизывала мороженое. Другая, купившая пирожное в кондитерской Эстер, покусывала его, держа двумя пальчиками, изящно отставив мизинец. Третья шла с книгами и нотами под мышкой, в плиссированной юбке с черным фартуком, в волосах у нее был красный бант, ноги в черных чулках походили на ножки куклы. Улицы наполнял аромат свежих бубликов и ветерка, дующего из-за Вислы и Пражского леса.

Вокруг фонарей кружились мириады крылатых существ — мошек, бабочек, комаров. Обманутые светом, они приняли ночь за день. Я смотрел на верхние этажи, где на балконах стояли девочки. Они выглядывали также из окон. Говорили, пели, смеялись. Я слышал шум швейных машин, слышал граммофон. Видел в окне темную тень девочки, вообразил, что она смотрит на меня сквозь занавеску, и сказал отцу:

— Папа, можно узнать из кабалы, с кем будешь обручен?

Отец остановился.

— Зачем тебе это знать? Достаточно того, что это знают на небесах.

Некоторое время мы шли молча. Потом отец обратился ко мне с вопросом:

— Сынок, что с тобой случилось?

Глаза мои наполнились слезами, все фонарные столбы закачались, и все огни затуманились.

— Папа, я не знаю.

— Ты растешь, сынок. Вот оно что. — И отец неожиданно сделал нечто совершенно необычное: наклонился и поцеловал меня.

ТРЕЙТЛ

Был летний вечер. В открытые окна и с балкона легкий ветерок нес с собой запах дыма: пекари уже разогревали печи для ранней утренней работы. Отец вернулся из синагоги, ел обычный летний ужин — молочную рисовую кашу. Вдруг кто-то постучал в дверь кухни. Мама, которая сидела в комнате отца (летом наше хозяйство велось как-то проще, чем зимой), послала меня открыть дверь. Вошел высокий человек с седой бородой и диким взглядом. На нем были длинный халат и сапоги, на голове — меховая шапка. Я испугался.

— Ты Ицик, а? — обратился он ко мне. — В точности бабушка Темерл. Тебя назвали в честь прадеда, раввина Иче-Герша. Ах! То же лицо! Он был прекрасным евреем, цадиком. Как бежит время!

Пройдя в дом, он приветствовал папу.

— Пинхас-Мендл, ты не узнаешь меня? Я Трейтл.

Папа всплеснул руками.

— Трейтл! Я глазам своим не верю!

— Да, я Трейтл. Постарел, да? Я и не знал, что ты теперь живешь в Варшаве.

Мне никогда не приходилось слышать, чтобы папу звали по имени и говорили с ним так фамильярно, как этот человек в длинном халате, сапогах и теплой шапке в разгар лета. Он обращался к отцу, как если бы тот был простым парнем. Мама ушла на кухню.

— Ты приехал из Томашова? — папин голос звучал дружески и непринужденно.

— Нет, я не был в Томашове уже много лет.

— Где же ты был все это время?

— Где я не был! Всю Польшу исходил вдоль и поперек! Доходил даже до Литвы. Я путешествовал.

— А почему ты путешествовал?

— Что значит — почему? Нужно выдавать замуж дочерей. У меня было семеро детей, но двое умерли. Мойше женился на девушке из Ижбицы. Хава, ее назвали в честь бабушки, вышла замуж и уехала в Ионев. Остальные три дочери, Сара-Миндл, Бейле-Броха и Ителе, еще дома. Как их прилично выдать без приданого? Проклятые доносчики разорили меня. Они — чтоб имена их

стерлись из памяти людей! — обвинили меня в присвоении чужих денег. Саре-Миндл, бедняжке, уже под сорок. Старая дева! Но я собираю приданое для каждой и не уйду на тот свет, пока не увижу каждую из них под брачным балдахином.

Папа задумался. Я видел глубокую складку на его лбу и догадался, что он прикидывает в уме возраст Сары-Миндл. Да, видимо, ей далеко за сорок. Он начал подергивать бороду.

— Иди умойся, поужинаешь со мной, — предложил папа.

— Я не голоден. Ем один раз в день, в четыре часа. Уже много лет.

— Понимаю. Но где ты остановился?

— Переночую у тебя.

— Ну, это очень хорошо. Может, чай выпьешь? Немного риса? Только перекусить.

— Я не пью чая. И не ем молочного. После четырех не ем ничего. Но как это ты переехал в Варшаву? Я, понимаешь, стал бродячим нищим. Думаешь, у меня был выбор? Сначала они донесли на меня властям, потом подослали воров ограбить мою лавку. Все взяли, оставили пустые полки. Я думал найти место шойхета, но конкуренты стали болтать, что у меня руки дрожат. Все они мои враги, все утопили бы меня в ложке воды. Это

потому, что я хоть и немного, да ученый, а они все невежды. Убедившись, что дела мои плохи, я проглотил свою гордость и ушел. Приданое для невесты — важная вещь. Сваты предлагали браки с неучами, но я и слышать не хотел. Ты, конечно, помнишь стих из Талмуда: «Лучше продать свой дом, чем выдать дочь за невежду».

— Но на праздники ты вернешься домой?

— Нет, в праздники я буду в Ровно, а может быть, в Людмире или где-нибудь еще. Как я могу вернуться без денег? Пока у меня не будет приданого для каждой, я не вернусь.

Мама принесла чай и печенье. Но странный гость ни до чего не дотронулся.

— Я иду по миру. Был даже в России, в одной из восточных губерний. Я не знал, что ты живешь в Варшаве, но встретил земляка, и тот сказал мне. Как его звали? А? Я уже забыл. Память немного ослабла. Что ты можешь знать о моей несчастной судьбе? Есть по пути телега — я еду. Нет — иду. Как твоя мать?

— Дай ей Бог здоровья на долгие годы.

— Святая женщина, но все же ей далеко до твоей бабушки Хинды-Эстер. Та носила талес-котн прямо как мужчина. Когда она приходила в Белз, ребе Шолом сам предлагал ей стул. Редкая была

женщина, мудрая и благочестивая. Покупала и продавала драгоценности, имела дело со знатными людьми. А твой отец, да почитет он в мире, семь лет не ел мяса, и никто, кроме твоей матери, не знал об этом обете. Он был кабалист, цадик. Среди литваков совсем нет таких. И у них тоже есть святые люди, но совершенно не те. Есть «великий ученый» реб Юзя. Здесь бы мы так пренебрежительно никогда не называли мудреца. А у Любавичского ребе, перед тем как поблагодарить Бога за пасхальную трапезу, не смачивают рта! Такой обычай. В Туриске я видел девушку, одержимую бесом. Обычно она вела себя спокойно, но неожиданно начинала лаять и говорить мужским голосом. Потом пела как кантор, мощным, как львиный рык, голосом. Все молитвы она знала наизусть. Туриский ребе дал ей амулет, но он ей не помог. Нынче и святые не те, что прежде. Мне все-таки везде помогают. Мир велик, и в каждом уголке есть, слава Богу, набожные евреи. В Варшаве море людей, и все куда-то спешат, летят. Ни у кого нет времени. Я хочу попросить тебя об одолжении.

— О чем именно?

— Можно оставить у тебя немного денег? Я всегда ношу их с собой, а в Субботу обычно доверяю их раввину города, в котором нахожусь.

Меня как-то ограбили. Я остановился в бесплатной ночлежке, деньги спрятал в сапоги. А там в эту ночь оказался вор. Рано утром он исчез со своим мешком и моими деньгами. Что толку гнаться за ним — как бы я узнал его? Обычный еврей с бородой и пейсами. В Пиоске даже воры носят бороды. Так что я оставлю деньги у тебя, после Субботы возьму их.

Папа нахмурился.

— Честно говоря, я боюсь. Это Варшава, здесь много воров...

— Чего же ты боишься? Ты не платный сторож и не отвечаешь за пропажу.

— Верно, но я не хочу, чтобы, не дай Бог, из-за меня кто-то подвергся искушению.

— Не беспокойся, все идет, как предписано Провидением. Меня с самого детства обманывали и обворовывали. Если б они не сделали меня нищим, моя Сара-Миндл была бы уже бабушкой. Но так угодно Небу. Ты можешь где-нибудь спрятать деньги?

— Куда их спрятать? Я могу только положить их в шкаф.

— Ну...

Гость быстро вытащил из кармана на груди пачку денег. Папа посмотрел на них и сказал:

— Ты хоть посчитай их.

— Я доверяю тебе без счета.

— Нет, посчитай.

Трейтл принялся считать деньги. Делал он это очень быстро и, по-моему, несколько раз посчитал две бумажки за одну. Не помню точно, сколько он насчитал, кажется, несколько сот рублей, и протянул их отцу:

— Положи их в шкаф.

— Но еще не пятница. Приходи вечером в пятницу.

— Нет. Я завтра пойду в баню. В пятницу баню не топят.

— Но... я на самом деле боюсь.

— Не бойся. Евреи щедры — когда слышат, что деньги нужны для приданого, они не отказывают. В одном городе я встретил сапожника, который наверняка был одним из тридцати шести неизвестных праведников. Его восемь сыновей тоже сапожники. Он сам дал мне порядочную сумму да еще пошел по городу собирать для меня. Это лучший сапожник во всей округе. Все неевреи обращаются только к нему. Он немного разбирается в Талмуде. А в Лудмире есть мясник, который все раздает бедным. Или это во Владове? Память меня немного подводит. И там же есть один богач, та-

кой скупой, что жена его печет хлеб на три недели: черствый медленнее съедается. Он-то никогда ничего не даст! Когда путешествуешь, встречаешь самых разных людей. И всегда найдется такой, что поможет. Как только мне удастся собрать на приданое всем трем дочкам, я выдам их замуж и перестану бродяжничать. Сколько мне самому нужно? Я могу жить на хлебе и борще. Могу стать учителем или шойхетом.

Беседа продолжалась далеко за полночь. Составив скамьи, мы устроили для него постель. Уснул он часа в два, а в пять поднялся и ушел.

Когда мама узнала, что у нас оставлены на хранение деньги, она отругала папу за то, что тот взял на себя такую ответственность. Что мы будем делать, если, упаси Бог, что-то случится с деньгами? С деньгами для приданого бедным девушкам! Она нашла где-то ключ, заперла ящик и сама уже не выходила из дому.

Прошла неделя. Мы ожидали в субботу вечером, что Трейтл вернется и освободит нас от бремени. Но он не пришел ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник. Он исчез так же внезапно, как появился.

Кто мог сказать, что с ним случилось? Может быть, когда-нибудь он явится за своими деньгами?

Из ящика шкафа мы перепрятали их в матрас, но этот тайник тоже не казался маме достаточно надежным, и она изобрела новый план: спрятать деньги среди пасхальной посуды на шкафу.

Уже в середине зимы нас посетил другой еврей из Томашова. Отец спросил, знает ли он что-нибудь о Трейтле. Тот пожал плечами:

— У Трейтла с головой не все в порядке.

— Вы хотите сказать?..

— Да.

— Он был здесь летом. Говорил, что собирает на приданое для своих дочерей.

— Какое приданое? Все его дочери давно замужем.

— Что?

— В этом и состоит его помешательство. Он что, действительно был у вас?

— Да. И оставил у нас деньги, а сам исчез, как камень, брошенный в воду.

— Он не в порядке...

Не помню, сколько прошло еще времени. Однажды в дверь постучали, и вошел Трейтл. Он изменился, как-то съежился. Наташил на своих сапогах в дом грязи.

— Я оставил у тебя деньги, — напомнил он папе.

— Но почему ты исчез? Как можно уйти и так долго не давать о себе знать?

— Мне надо было побывать во многих местах.

— Ты хоть знаешь, сколько денег оставил?

— Память моя ослабла, но я тебе верю.

— Все это время мы не могли из-за твоих денег выйти из дому. Боялись, что, не дай Бог, ограбят.

— Меня много раз грабили. Оставалась чуть ли не последняя крошка хлеба, но евреи добры. Мне бы только дожить, выдать замуж дочерей. Саре-Миндл уже минуло сорок. Бейле-Брохе тоже за тридцать. Сколько они еще могут ждать?

— Но ты все это время не был в Томашове. Может быть, они уже вышли замуж?

— Без приданого? Глупости!

— Так бывает.

— А!

— Ты бы, по крайней мере, справился.

— Нет, нет!

Мы придвинули стол к шкафу, поставили на стол стул и достали из корзины с пасхальными блюдами тщательно завернутые в бумагу деньги Трейтла. Он сунул пачку в карман, не считая.

— Хинда-Эстер еще жива? Она должна теперь быть очень старой.

Папа покачал головой. Гость явно тронулся, но только в одном отношении. Он мог рассказывать множество интересных вещей, то и дело прерывая себя неизменным:

— Чтобы мне только дожить — увидеть своих дочерей замужем...

РЕБ ОШЕР-МОЛОЧНИК

Есть люди на этом свете, которые просто родились хорошими. Таким был реб Ошер-молочник. Господь одарил его очень щедро: был он высокий, плечистый, сильный, с черной бородой и большими черными глазами, голосом, как у льва. В Новый год и в День Искупления, когда в нашем доме собирались верующие, он вел главную молитву, и именно его голос привлекал людей. Он делал это бесплатно, хотя мог бы получить крупную сумму в большой синагоге. Так он помогал моему отцу справлять праздники. И полагая, что этого мало, старался всегда что-то сделать для нас. Никто не оделял отца так щедро на Пейсах, как реб Ошер-молочник. Когда нам приходилось туго, нечем было платить за квартиру, отец посылал меня к реб Ошеру занять денег, и тот никогда не отказывал, даже не морщился. Просто сунув руку в карман, он доставал оттуда пачку бумажек и серебро. Он

помогал и другим евреям, раздавал деньги направо и налево. Этот простой человек, который с огромным трудом продирался сквозь главы Мишны, всю жизнь находился на высшем уровне нравственности. Тогда как другие молились, реб Ошер действовал.

Он не был миллионером, не был даже богачом, но обладал, по выражению отца, «приличным доходом». Меня часто посылали купить в его лавке молоко, масло, сыр, простоквашу, сметану. Жена и старшая дочь реб Ошера весь день, с раннего утра до позднего вечера, обслуживали покупателей. Жена, дочь управляющего именем, была полной женщиной в белокуром парике, с пухлыми щеками и веснушками на шее. Ее огромная грудь казалась вздутой от молока. Если порезать ей руку, представлялось мне, брызнет молоко, а не кровь. Один его сын, Юда, был таким толстым, что на него приходили смотреть как на чудо. Он весил почти десять пудов. Другой сын, похожий на франта, стал портным и уехал в Париж. Младший еще учился в хедере, а маленькая девочка — в школе.

В нашем доме всегда было много проблем, сомнений и волнений, а в доме Ошера-молочника царили согласие, спокойствие, здоровье. Каждый

день Ошер отправлялся к поезду за молоком. Он вставал на заре, шел в синагогу, а после завтрака ехал на вокзал. Работал он каждый день по крайней мере восемнадцать часов, а в субботу, вместо того, чтобы отдохнуть, шел в синагогу или к моему отцу изучать отрывок из Торы с комментариями Раши. Он любил еврейство не меньше, чем свою работу. По-моему, он никогда не говорил «нет». Вся его жизнь была сплошным «да».

У Ошера были лошадь и телега, вызывавшие у меня дикую зависть. Каким счастливым был бы мальчик, отец которого владел бы лошастью, телегой и конюшней! Каждый день Ошер ездил в разные концы города, даже на Прагу! Часто он проезжал мимо нас и никогда не забывал поднять голову, чтобы приветствовать того, кто появлялся в окне или на балконе. Встречая меня на улице, когда я бегал с мальчишками или играл с детьми мне «не ровней», он никогда не грозился сказать об этом отцу и не пытался наставлять меня. В отличие от других взрослых, он не дергал мальчика за ухо или нос и не щипал его щек. Ошер, видимо, по своей природе уважал всех — и больших, и маленьких.

Однажды я, увидев его в телеге, поздоровался и крикнул:

— Реб Ошер, возьмите меня с собой!

Он сразу же остановился и велел мне влезать. Мы поехали на вокзал. Поездка длилась несколько часов, и я был на вершине блаженства. Мы ехали среди трамваев, дрожек, фургонов. Солдаты маршировали, городские стояли на посту, мимо мчались пожарные, кареты «скорой помощи» и даже автомобили, только-только появившиеся в Варшаве. Ничто не могло повредить мне. Друг с кнутом защищал меня, под ногами я чувствовал дрожь колес. Казалось, вся Варшава завидует мне. И люди действительно с изумлением смотрели на маленького хасида в бархатной шапочке, с рыжими пейсами, который едет на телеге молочника и обозревает город. Было ясно, что я не имею отношения к телеге, что я нечто вроде туриста.

С того дня между мной и реб Ошером установилось молчаливое соглашение. Как только представлялась возможность, он брал меня на телегу. Страшными были минуты, когда реб Ошер уходил к поезду за бидонами с молоком или в контору и я оставался один в телеге. Лошадь поднимала голову и удивленно смотрела на меня. В моих руках были вожжи, но лошадь, казалось, думала:

— Посмотрите, пожалуйста, кто теперь мой кучер!

Я боялся, что лошадь может повернуть назад. В конце концов, это не игрушка, а огромный зверь, безмолвный, дикий, чудовищно сильный. Проходившие мимо люди иногда смотрели на меня, смеялись, говорили что-то по-польски. Я не знал языка, и эти люди пугали меня не меньше лошади. Они тоже были большими, сильными и непонятными. Кто-то мог дернуть меня за пейсы — у некоторых поляков это считалось прекрасной шуткой.

Когда мне уже казалось, что пришел конец — лошадь рванет или человек меня обидит, — появлялся реб Ошер, и все становилось на место. Он легко, как Самсон, нес тяжелые бидоны, был сильнее лошади, сильнее любого, а глаза у него были добрые, говорил он по-нашему и был другом моего отца. Я хотел только одного — ехать с этим человеком день и ночь, через поля и леса, до Африки, до Америки, до конца света, и все время наблюдать, смотреть, что творится вокруг...

И каким другим был этот самый реб Ошер в Новый год или в День Искупления!

Плотники установили в комнате отца скамьи — там молились женщины. Из спальни вынесли кровати, внесли туда Ковчег Завета, устроив крошечную синагогу. Борода реб Ошера казалась еще

чернее на фоне белого одеяния. Голову его покрывала высокая шапка, расшитая золотом и серебром. Он поднимался к кафедре ведущего молитву и львиным голосом рычал:

— Услышь меня, лишенного благ...

Наша спальня была слишком маленькой для баса, гремевшего из этой мощной груди. Он раздавался на пол-улицы. Реб Ошер читал и пел, остальные составляли хор. Глубокий бас реб Ошера вызывал тревогу в отделении женщин. Все они, конечно; хорошо его знали. Только вчера покупали в его лавке молоко, простоквашу, масло. Теперь он представлял народ Израиля перед Всемогущим, возносил молитвы прямо к Сияющему Трону, среди трепещущих крылами ангелов, среди книг, в которых записаны добрые дела и грехи всех смертных...

Когда он добирался до молитвы «Мы выразим мощь» и начинал читать о судьбах людей — кто будет жить, кто умрет, кто погибнет в огне, а кто в воде, женщины начинали плакать. Но реб Ошер победно провозглашал:

— ...Каясь, молясь и жертвуя бедным, можно отвратить злую судьбу!

И у каждого сваливался камень с сердца.

Когда реб Ошер пел о ничтожестве человека и величии Бога, всех охватывали радость и блаженство. Почему человеку, всего лишь мимолетной тени, цветку, которому суждено завянуть, думать, что Бог, милосердный и справедливый, причинит ему зло? Каждое слово, каждая нота, выкрикиваемые реб Ошером, отгоняли страх, воскрешали надежду. Мы действительно ничто, а Он — всё. Мы при жизни лишь прах, а после смерти меньше, чем прах, Он же вечен, и дни Его никогда не окончатся. В Нем, только в Нем наша надежда.

Однажды, после исхода Дня Искупления, реб Ошер, наш друг и благодетель, даже спас нам жизнь. Случилось это так. После долгого поста мы плотно поужинали. Потом в нашем доме собралось много евреев, все веселились, пели и плясали. Поздно вечером семья наконец заснула. Поскольку весь дом был в беспорядке, спальня набита скамьями и стульями, каждый улегся там, где нашел себе место. Но мы забыли потушить свечи, которые еще горели на некоторых скамьях.

Ночью реб Ошер отправился на вокзал за молоком. Проезжая мимо нашего дома, он заметил в окне необычный свет. Свет не свечи или лампы, а пламя пожара. Он понял, что дом горит, позвонил

в колокольчик у ворот, но сторож не спешил открывать, он спал.

Тогда реб Ошер стал так трезвонить и стучать, что сторож все-таки проснулся. Реб Ошер кинулся вверх по лестнице, ворвался в нашу квартиру, где все продолжали спать.

Горели скамьи, кафедра, молитвенники. Реб Ошер заорал своим зычным голосом и разбудил всех. Сорвав с нас одеяла, он стал тушить огонь.

Помню все это очень отчетливо. Открыв глаза, я увидел множество огней, маленьких и больших, которые перекатывались и плясали, как духи. Одеяло моего брата Мойше уже загорелось. Я был мал и не испугался, танцующие огни мне даже понравились.

Через некоторое время огонь потушили. Действительно, случившееся в эту ночь можно было назвать чудом. Еще несколько минут, и все мы сгорели бы. В эту ночь только один реб Ошер не спал, и только он мог так настойчиво звонить и рисковать своей жизнью ради нас.

Мы все словно онемели, не успели и поблагодарить его — он спешил и быстро ушел. Мы бродили среди обугленных скамей, столов, молитвенников, талесов, обнаруживали новые искры, тлею-

щие угольки и думали, как легко могли бы превратиться в пепел.

Дружба отца с реб Ошером стала еще крепче. Во время первой мировой войны мы голодали, и он очень нам помогал.

В конце войны мы покинули Варшаву. Иногда до нас доходили вести о реб Ошере. Один сын его умер, дочь полюбила человека низкого происхождения, чем он был весьма удручен. Не знаю, дожил ли он до оккупации Варшавы нацистами. Вероятно, умер до этого. Но таких же евреев, как он, по-тащили в лагеря смерти. Пусть эти воспоминания будут памятником реб Ошеру и ему подобным, тем, кто жил как святой и умер как мученик.

К ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ

Иногда кажется, что у человека судьба написана на его лице. Например, у Мойше Блехера⁵ с Крохмальной, 10. Простой жестянщик, бедняк, но что-то в нем занимало меня. Вид у него был, как у восточного еврея из Святой земли. Лицо смуглое, загорелое, в морщинах, с желтоватым оттенком, будто с незапамятных времен обожженное тропическим солнцем. В глазах его была мечтательность, ни у кого больше я такой не видел. Можно было предположить, что эти глаза видят тайны прошлого и, возможно, будущего. Мойше был чем-то вроде знатока Торы и часто спорил с моим отцом о приходе Мошиаха. Он помнил все стихи и все комментарии, относящиеся к Мошиаху. Особенно его интересовали туманные пророчества Даниила. Он всегда был погружен в них, и когда

⁵ Блехер — жестянщик (*идиш*).

бы о них ни упомянули, глаза его становились еще более мечтательными.

Однажды я наблюдал за Мойше на крыше. Варшавские крыши круты и опасны, но он двигался по ним с уверенностью лунатика. Всякий раз, когда я видел его работающим высоко-высоко, меня охватывал страх. На такой высоте Мойше казался необыкновенно сильным, привычным к чудесам, неподвластным обычным законам. Вдруг он останавливался, задирал вверх голову, как будто ожидал, что прилетит ангел или серафим, возвещающий о приходе Спасителя.

Иногда он задавал папе трудные вопросы. Находил противоречия в Талмуде. Хотел знать, сколько времени пройдет между мученичеством первого Мошиаха, сына Иосифа, и появлением второго, сына Давида. Говорил про рог, который возвестит о приезде Мошиаха на осле, вспоминал легенду о том, что Мошиах остановится у ворот Рима, чтобы размотать повязки на своих ранах. Мойше Блехера раздражало предсказание мудреца Гилела о том, что Мошиах не освободит евреев, потому что освобождение уже «израсходовано» во времена царя Езекии. Как святой человек мог сказать такое? И что означают слова Мишны о том, что наше время отделено от века Мошиаха лишь

обретением Иудейского царства? Неужели только этим? Сколько, например, пройдет времени от прихода Мошиаха до воскрешения мертвых? И когда будет опрокинут Небесами огненный Храм? Когда? Когда?

Мойше Блехер жил в подвале, там было чисто и аккуратно. Горела керосиновая лампа, постель была аккуратно застелена. У стены стоял шкаф с книгами. Я посещал Мойше, так как он покупал еврейские газеты и можно было брать их у него читать. Он сидел за столом в очках и листал газеты, отыскивая новости о Палестине и о странах, где произойдет война Армагеддона, когда Бог сбросит с неба камни. Мойше интересовали места, где мог быть рай и река Самбатион, там, как полагают, заблудились десять потерянных колен. Мойше знал все о пропавших коленах и давал понять, что, если бы кто-нибудь позаботился о его семье, он отправился бы искать братьев.

Неожиданно распространился слух, что Мойше Блехер с семьей уезжает в Палестину. Я не помню всех членов его семьи. Помню, что там был большой мальчик, а может быть, два. Решение Мойше было не внезапным капризом, а следствием глубоко укоренившегося стремления. Все удивлялись, почему он ждал так долго.

Подробности стерлись, расскажу лишь отдельные факты, — я тогда был еще ребенком. Люди ходили посмотреть на жестянщика в его подвале. Давали ему послания, которые он должен был положить у Стены Плача, у могилы Рахили или пещеры Махпела. Старики просили прислать им в мешочках святой земли. Мойше пребывал в экстазе, глаза его выражали ожидание и неземное блаженство. Святая земля была, казалось, выгравирована на его лице, оно как бы напоминало собой карту.

Однажды под вечер к нашему дому подъехала телега. Огромная, похожая на омнибус. Я до сих пор не понимаю, зачем Мойше Блехеру была нужна такая большая телега. Может быть, он брал с собой мебель? Крохмальная улица внезапно наполнилась людьми, которые пришли попрощаться с Мойше.

Они целовали его, рыдали, призывали Мошиаха прийти и положить конец рассеянию. Казалось, путешествие Мойше Блехера предвещает приход Спасителя, как если бы он был его предтечей или посланцем. Если Мойше едет в Палестину, значит, Конец Дней близок.

Прошли месяцы, потом я услышал грустные вести. Папа получил письмо от Мойше. Он писал,

что не нашел работы в Святой земле, что семья его терпит нужду и лишения, питается в основном рисом и водой. Мы все любили Мойше и были очень опечалены его неудачами. Все надеялись, что он устроится в Святой земле и вызовет их туда, для них Мойше Блехер был родным человеком.

В канун Йом Кипура в нашем доме, где шла служба, были расставлены блюда, куда люди бросали цдоку для нуждающихся — больных, бедных невест, ешиботников. На одно блюдо папа положил бумажку с надписью: «для реб Мойше Блехера». Под бумажкой лежало письмо Мойше моему отцу.

Мужчины и женщины, пришедшие на молитву, не привыкли швыряться деньгами. Четыре гроша, шесть или десять считались достаточно большой суммой. Но это блюдо оказалось волшебным: в него бросали двутривенные, полтинники и даже рубли, кто-то положил трехрублевую купюру. Весть о том, что Мойше Блехер со своей семьей сидит на рисе и воде, огорчила всех. Это как бы служило знамением того, что Спаситель еще далеко.

После Йом Кипура отец послал Мойше Блехеру собранные деньги. На них можно было купить много риса и воды (тогда в Святой земле воду то-

же приходилось покупать). Но, очевидно, Мойше не мог приспособиться к новым условиям. Или, будучи романтиком, не сумел привыкнуть к мысли, что он в Святой земле. Возможно, мечта была для него слаще реальности. Возможно, он не примирился с тем, что в Земле Господа хозяйничают турки. Или его возмущали неверующие колонисты, которые брили бороды и жили не по Торе. До нас дошел слух, что он возвращается.

И Мойше действительно вернулся. Выглядел он еще более смуглым, обожженным солнцем, борода его поседела, глаза странно блестели. Так должен выглядеть человек, который умер, прошел чистилище, потом рай, но его почему-то вернули на землю.

Он навестил нас, долго разговаривал с папой, отвечал на его вопросы, побывал везде. Но мы так и не поняли, что заставило его вернуться. Кажется, он что-то скрывает.

Я снова увидел Мойше Блехера на крыше. Он все чаще останавливался, что-то высматривал, искал наверху. Он опять пришел к папе поговорить о стихах Торы. Из Палестины он привез мешок белого, как мел, песка и много камешков, осколков руин и святых надгробий. Когда кто-то умирал, Мойше давал на гроб немного палестинской

земли и отказывался брать деньги за это, не желая торговать святыней.

Возможно, я что-то напутал. Но если нет, то случилось вот что. Дети Мойше Блехера женились, он остался вдвоем с женой. У него появилась возможность меньше работать, он чаще сидел дома, изучая священные книги. Очевидно, перед поездкой в Палестину Мойше не соглашался с сионистами, пытавшимися воплотить в реальность его грезы. Он настойчиво ждал прихода Мошиаха. Со временем же ему стали близки идеалы сионистов. В конце концов, если Мошиах не хочет прийти, почему следует его ждать? Может быть, Бог желает, чтобы евреи ускорили приход Спасителя? Может быть, надо поселиться в Святой земле, чтобы он пришел? Помню спор Мойше с папой. Отец считал сионистов неверующими, грубиянами, святотатцами, которые принесут на Святую землю заразу. Мойше ему возражал:

— Вероятно, так суждено. Возможно, они предтечи Мошиаха, сына Иосифа. Возможно, они покаются и станут благочестивыми евреями. Кто знает, что велят Небеса?

— Человек должен быть евреем, прежде чем попасть в Святую землю, — настаивал папа.

— А они кто? Неевреи? — спрашивал Мойше. — Они приносят жертвы ради евреев. Осушают болота, борются с малярией. Они настоящие мученики. Надо ли это преуменьшать?

— «Строитель трудился напрасно, если дом построен без Господа», — процитировал отец.

— Первый Храм тоже строили не ангелы, а люди. Царь Хирам посылал царю Соломону рабов и кедры, — напомнил Мойше.

Спор разгорался. Папа стал подозревать, что Мойше Блехер попал в сети к сионистам. Он наверняка остается благочестивым евреем, но запутался. Даже одобряет доктора Герцля. Спор дошел до крайности. Мойше, очевидно, ожесточился.

Мальчики в молельне спрашивали у него:

— Это верно, что звезды в Святой земле большие, как сливы?

— Верно, дети, верно, — отвечал им Мойше.

— А правда, что жена Лота все еще стоит у Мертвого моря и волны лижут соль на ее теле?

— Где-то я слышал про это.

— Вы слышали, как Рахиль оплакивает своих детей?

— Я не слышал, но праведник мог бы слышать.

— Реб Мойше, в Святой земле едят хлеб?

— Едят, если есть.

Стало ясно, что Мойше Блехер выживает из ума. Впрочем, его поведение могло быть вызвано глубокой тоской. В один прекрасный день он вернулся в Святую землю.

На этот раз телеги не было. Не было поцелуев на улице, никто не вручал ему посланий. Мойше и его жена просто исчезли. Вдруг выяснилось, что их нет. Выяснилось, что Мойше уже давно не мог подавить тоску по земле праотцев, земле фиников, инжира, миндаля, где современные люди строят колонии, сажают эвкалипты и в будни говорят на святом языке.

Шли годы, от Мойше Блехера известий не было. Я долго думал о нем. Сидит ли его семья снова на рисе и воде? Может ли он зарабатывать на хлеб? Не ушел ли он на поиски Красных Евреев по ту сторону реки Самбатсион? От такого, как Мойше, можно ожидать всего.

РЕБ ХАИМ ИЗ ГОРШКОВА

Существовали «завсегдатаи», постоянно приходившие к нам: увидеть раввина, облегчить свою душу, получить совет или просто поговорить. Некоторые довольствовались беседой с мамой на кухне, одним из них был реб Хаим из Горшкова.

Реб Хаим обладал красным носом, лицо его до самых глаз заросло длинной бородой, в которой смешались белый, каштановый, серый и много других оттенков. Из ушей и ноздрей его торчали пучки волос. Из-под кустистых бровей смотрели глаза янтарного цвета, такие бывают только у бедных евреев. В них сверкали древняя доброта и безропотность, созданные веками изгнания и страданий. Он уважал и почитал любого человека, взрослого и ребенка, любое живое существо. Выражение «мухи не обидит» подходило ему буквально. Мухи часто садились на его красный нос, но он не сгонял их. Ему ли, Хаиму

из Горшкова, решать, пристало ли мухе садиться на его нос?

В глазах реб Хаима папа являлся правой рукой Всевышнего, а на маму он глядел с восхищением и благоговением. Он был безграмотный, и мама писала для него письма его детям в Америку. Реб Хаим старался ей услужить, готов был подмести пол, выполнить какое-либо поручение, но мама не могла позволить себе пользоваться такими унижающими мужчину услугами.

Реб Хаим был беден в полном смысле этого слова, бедность была у него написана на лице. Жил он с женой в подвальном помещении. Сквозь дыры в выдавшей виды, в заплатках одежде выглядывало белье. Жена его ощипывала кур на базаре Яноша.

У этого еврея были две страсти.

Одна — произносить псалмы или другие священные тексты. Даже сидя и разговаривая с мамой, он шевелил запавшими губами, и мы знали, что он наскоро повторяет стих или даже целую главу из Книги псалмов. Он знал их наизусть почти все.

Вторая его страсть — говорить о Горшкове. Он уехал оттуда много лет назад, но все прекрасное и доброе осталось связанным с этим городком, ко-

торый представлялся ему Землей обетованной, преддверием рая. И напротив, все безобразное и нечестивое олицетворяла для него Варшава.

В Горшкове надо было добираться целых два дня, поездом — до Рейовиц, а потом — на подводе. Очевидно, что такая поездка была для него несбыточной мечтой, и он мог лишь тосковать по Горшкову, при одном упоминании о котором слезы застилали ему глаза.

В Горшкове у реб Хаима оставалась собственность, дом-хибара в одну комнату, развалюха. В доме жил родственник, не плативший ему ни гроша, так что «собственность» только причиняла ему одни неприятности. Санитарная комиссия, учрежденная люблинским губернатором, обнаружившая, что стены дома вот-вот рухнут, оштрафовала его владельца. И поскольку денег у реб Хаима не было, его на неделю посадили в тюрьму с ворами и другими уголовниками. Когда он вышел на свободу и мы узнали о его злоключениях, мама посоветовала ему продать эту «собственность» или просто передать ее тому самому родственнику, который обитает в ней. Но реб Хаим возражал:

— Пока у меня дом в Горшкове, я — его житель и меня там помнят!

Вскоре его опять оштрафовали: из-за того, что трубу очень давно не чистили от сажи, случился пожар. Правда, дотла хибара не сгорела, но реб Хаима снова посадили за неуплату штрафа.

Папа и мама были его земляками, и мы, дети, понимали, почему он так часто бывает у нас.

— Реб Хаим, что нового в Горшкове? — спрашивал я его обычно.

Следовал глубокий вздох, вздох, вырывавшийся из недр души. Борода его начинала подрагивать, как хвостик у птички. Усы шевелились, из беззубого рта вырывался звук, как у старых часов, которые готовятся отбивать время.

— В Горшкове, а? Горшков — это сад Эдема, а здесь мы в Геенне! Что мы знаем здесь о Субботе? О праздниках? Разве можно быть настоящим евреем в Варшаве? Здесь что, можно жить? Все куда-то бегут, мечутся. Кто в Горшкове слышал об угле? Мужики приносили из лесу дрова, отец, да почиет он в мире, сам пилил и колол их. Когда он аккуратно раскладывал их в печи и зажигал растопку, в доме сразу становилось тепло. Вы можете согреть себя в Варшаве по-настоящему? Уголь — это проклятие. Закроешь вьюшку — в комнате полно дыма, откроешь — все равно что не топили. Моя мама, пусть будет она нашей заступни-

цей на том свете, пекла в печи печенье, субботние халы. В ведре всегда оставалось немножко теста, опары для следующей Субботы. Варшавский хлеб, слишком свежий и бесплотный, ешь, ешь, и все голодный! В Горшкове у каждого кусочка хлеба райский вкус. А если смазать его куриным жиром, да сверху положить куриные шкварки!.. Что за вкус у халы, купленной в лавке? Мама окунала перо в желток яйца и смазывала тесто, прежде чем ставить его в печь. А ее печенье? А чолнт? Здесь чолнт либо недоваренный, либо подгоревший. Его держат в печи с сотнями других чолнтов. Но мама моя держала чолнт в собственной печи и закрывала дверцу тестом! А кугл? Кто-нибудь в Варшаве знает, как готовить настоящий кугл? Когда мама готовила кугл, пекла пироги — дыхание захватывало! А сушеные фрукты? В нашем дворе росла груша с крошечными плодами. Мама высушивала их, пока они не становились сладкими, как сахар. Когда их варили с корицей, аромат наполнял весь дом! Ну а синагога? Разве в Варшаве молятся как полагается? Просто пробегают через молитвы! Мы же к молитве относимся со всей серьезностью. Когда в пятницу наш кантор пел «Приди, невеста!», сами стены пели вместе с ним! А вино в Горшкове! Здесь его покупают

у виноторговца, и оно напоминает уксус. Мой отец делал вино из изюма. Варил его больше часа, потом процеживал через тряпочку. Делаете кидуш в пятницу, встречая Субботу, и оно проникает в каждый уголок тела! К Субботе в Горшкове начинали готовиться в среду.

Мама улыбалась. Она слышала эти гимны Горшкову каждую неделю. Знала, что вино там вовсе не такое сказочное, как изображает реб Хаим. Но при этом простачке она не могла вымолвить ни слова в защиту Варшавы или против Горшкова. Она слушала и кивала. Я, однако, уже достаточно нагловатый молодой человек, невинно спрашивал:

— А трамвай в Горшкове есть?

— Чтоб ты был здоров! Кому это нужен трамвай в Горшкове?

— А дома в четыре этажа?

— Кому это надо преодолевать столько ступеней? В Горшкове даже у богачей входишь прямо в гостиную!

Но, можно подумать, Варшава недостаточно безбожна! Злая судьба пожелала, чтобы все дети реб Хаима уехали в Америку. Сперва один, тот вызвал остальных, и не успел реб Хаим понять, что случилось, как оказался бездетным. Сыновья

писали, что Варшава по сравнению с Нью-Йорком — деревня. В Нью-Йорке поезда мчатся через крыши домов. А дома такие, что надо задирать голову, чтобы увидеть их целиком. И если хочешь попасть в другой конец города, нужно ехать под землей.

Дети писали родителям длинные письма с множеством ошибок. Расшифровать эти письма могла только моя мама. Однажды она не могла разобрать слово, занимавшее почти целую строку. Все в доме пытались его прочесть, но безуспешно. Уже отчаявшись проникнуть в тайну этого слова, мама вдруг расхохоталась. «Слово» просто состояло из трех, написанных без пробелов: «Дни праздника Суккос». Старшая дочь реб Хаима, которую мы не знали, так как она уехала в Америку до нашего переезда в Варшаву, в каждом письме жаловалась.

Пища там безвкусная. Хлеб не хлеб, хала не хала. Суббота не Суббота, праздники не праздники. Но приходили из-за океана фотографии, на которых были изображены сыновья, дочери, зятя и невестки реб Хаима, все разодетые, мужчины даже в котелках, а то и в цилиндрах. Реб Хаим с трудом узнавал своих детей. Будто в Варшаве недостаточный содом — его детям надо было уехать туда,

где люди ходят вверх ногами, где все шиворот-навыворот!

Год за годом письма из Нью-Йорка становились все менее понятными, изобиловали английскими словами. Там, видно, запомнили, что в Варшаве не говорят по-английски. Дети просили отца и мать приехать в Нью-Йорк, где старики могли бы насладиться жизнью. Они готовы были прислать родителям билеты на пароход. Но реб Хаим грустно улыбался и пожимал плечами. Мало у него забот в Варшаве, чтобы искать еще новые в Нью-Йорке? Мало здесь безбожия, чтобы ехать за ним так далеко?

У реб Хаима была только одна мечта: вернуться в Горшков, дожить там последние дни и быть похороненным на местном кладбище. Если Богу не угодно было, чтобы он жил в Горшкове, пусть позволит ему, по крайней мере, обрести в нем вечный покой. Но началась первая мировая война, в Варшаву вошли немцы, а Горшков оказался в Австрии. Для поездки туда требовались паспорт, виза, разрешение пересечь границу.

Когда в Варшаве начался голод, реб Хаим стал с тоской вспоминать, каким раем была Варшава до войны. Все тогда было дешево, его жена приносила половину гуся, гусиные потроха, халу и дру-

гие продукты для Субботы. Снова проливались слезы. Но теперь это уже нас не забавляло. Мы сами голодали. Я, коварный подросток, опять же невинно спрашивал:

— А помните, реб Хаим, как вы жаловались на Варшаву? Вы ведь мечтали только о Горшкове.

Реб Хаим поднимал свои желтые глаза. Его увлажненный взор как бы вопрошал: «Кто теперь отважится даже думать о Горшкове?»

ПРАЧКА

Наша семья мало общалась с неевреями. Это были в основном сторож, который приходил в пятницу за «пятничными чаевыми», и прачка, являвшаяся за бельем в стирку. Сторож становился на пороге, снимал шапку, и мама давала ему шесть грошей. Но рассказ не о нем, а о прачке.

Была она худая, маленькая, старая, морщинистая. Начала стирать на нас, когда ей было уже за семьдесят. Еврейки в ее возрасте, как правило, большие, слабые, разбитые старухи. Ходили они по нашей улице сторбленные, опираясь на палки. Но наша прачка, хоть и худая, и маленькая, обладала силой, унаследованной от поколений крестьян. Мама давала ей белье, которое накопилось за месяц. Она поднимала громадный узел, взваливала его на свои узкие плечи и несла домой. Жила она далеко, тоже на Крохмальной, но на другом конце, возле квартала Воля. Туда было полтора часа пути.

С чистым бельем она возвращалась через две, самое большее — через три недели. Маме прачка нравилась, она не поменяла бы ее ни на какую другую. Каждая выстиранная ею вещь сверкала, как серебро, была тщательно выглажена. А брала она за работу не больше других. В общем, настоящая находка. Деньги у мамы всегда были наготове, потому что женщина жила слишком далеко, чтобы приходить лишний раз.

Стирать в те годы было нелегко. Там, где жила прачка, водопровода не было, приходилось таскать воду из колонки. Чтобы белье стало чистым, его надо было замачивать с содой, отстирывать в корыте, кипятить в огромном котле, хорошо выполаскивать. Затем его крахмалили и гладили. С каждой вещью проделывалось десять, а то и больше операций. А сушка! На улицу не вывесишь — воры стянут. Его надо было сильно выкрутить руками и развесить на чердаке. Зимой оно становилось острым, как стекло, и чуть не трескалось, когда дотронешься. И всегда возникали споры с другими хозяйками и прачками, которым тоже нужна была бельевая веревка. Один Бог знает, что претерпевала старушка всякий раз, когда стирала!

Она могла бы просить милостыню на паперти или пойти в богадельню. Но у нее была своя

гордость, и работу, которую многие проклинали, она любила. Не желая быть кому-либо обузой, она свое бремя несла сама.

Мама немного знала по-польски и часто беседовала с прачкой. Про меня старуха говорила, что я похож на Христа-младенца, и повторяла это каждый раз, когда приходила. Мама хмурилась и шептала, еле шевеля губами:

— Пусть ее слова развеются в пустыне!

У прачки был богатый сын. Не помню, чем именно он занимался. Сын стыдился матери, никогда не навещал ее и не давал ей ни гроша. Старуха говорила об этом без укора. Он женился, видимо, сделал хорошую партию, но на свадьбу мать не пригласил. Однако она пошла в костел и ждала на ступеньках, чтобы увидеть, как сын поведет «молодую» к алтарю.

Рассказ о бесчестном сыне сильно подействовал на маму. Она часто говорила об этом: сын оскорбил не только свою мать, но и всех матерей в мире. «Стоит ли жертвовать собой ради детей? Мать надрывается из последних сил, а он не знает, что такое сыновний долг!» — твердила она.

И туманно намекала, что сомневается в собственных детях — кто знает, что они выкинут когда-нибудь? Впрочем, это не мешало ей посвящать

нам всю свою жизнь. Если в доме появлялось какое-нибудь лакомство, она откладывала его для детей, придумывала всевозможные причины, объясняя, почему не ест сама. Она знала старинные заклинания, пользовалась выражениями, унаследованными от поколений преданных матерей и бабушек. Если кто-то из детей жаловался на боль, мама говорила:

— Пусть это перейдет на меня, чтобы ты пережил мои кости!

Или восклицала:

— Пусть я пострадаю, но чтобы у тебя не болел ни один ноготок!

Когда мы ели, она обычно приговаривала:

— Чтобы твои косточки были здоровы!

Но вернемся к прачке. Стояла суровая зима. На улицах был лютый мороз. Сколько мы ни топили, окна были покрыты инеем и украшены льдинками. Газеты сообщали, что люди замерзают на улице. Уголь стал дорогим. В ту зиму евреи перестали посылать детей в хедер и даже польские школы были закрыты.

В один из таких дней прачка, которой было уже под восемьдесят, пришла к нам. За месяц набралось порядочно белья. Мама дала ей чаю согреться и немного хлеба. Старуха сидела на табуретке в

кухне и дрожала, согревая руки о чайник. Пальцы ее скрючились от работы и, вероятно, от артрита. Ногти странно побелели. Эти руки говорили об упорстве человека, о стремлении работать не только в полную силу, но и за ее пределами. Мама считала и записывала: блузки, нижние рубашки, кальсоны, нижние юбки, пододеяльники, простыни, наволочки, талесы. Да, она стирала и талесы!

Узел получился большой, больше обычного. Когда старуха взвалила его себе на плечи, ее не стало видно. Она зашаталась, вот-вот упадет. Но внутреннее упорство, по-видимому, не позволило ей упасть под ношей. Осел может себе позволить это, но не человек, венец творения.

Было страшно смотреть, как она выходит на чудовищно промерзшую улицу, где снег сух, как соль, а в воздухе полно пыльных снежинок, пляшущих, как гномики. Дойдет ли она до Воли?

Прачка исчезла из виду, мама вздыхала и молилась за нее. Прошли три недели, потом четыре, пять, а о старухе ничего не было слышно. Мороз еще больше усилился. Телеграфные провода стали толстыми, как веревки. Ветки деревьев казались стеклянными. Снегу нападало столько, что улицы сделались неровными, и по многим из них сани скользили, как по склону холма. Добросердечные

люди жгли на улицах костры для бездомных, чтобы те могли согреться и испечь на огне картошку (если она у них была).

Отсутствие прачки явилось для нас катастрофой. Мы остались без белья и не знали даже ее адреса. Да и не было у нас уже сомнений, что ее нет в живых. Мама говорила, что предчувствовала это, когда старуха уходила в последний раз. Она нашла какие-то старые, рваные рубашки, постирала их, починила и пустила в дело. Нам было жаль и белья, и старой, измученной работой женщины, с которой мы сблизились за эти годы. Она так верно служила нам!

Прошло больше двух месяцев. Наступила оттепель, потом опять ударил мороз, пришла новая волна холода. Однажды вечером, когда мама сидела у лампы за починкой рубашки, дверь открылась и вкатилось облако пара, а за ним гигантский узел. Под узлом шаталась старуха с лицом блее простыни. Из-под платка выбилось несколько седых прядей. Мама вскрикнула полузадушенным голосом. Казалось, в комнату вошел мертвец. Я бросился к старухе, помог ей снять узел. Она была еще тоньше, чем два месяца назад, еще больше сторбилась. Лицо обострилось, а голова моталась из стороны в сторону, словно говоря «нет». Она не

могла произнести ясно ни слова, что-то лепетала запавшим ртом и бледными губами.

Немного придя в себя, она рассказала нам, что была больна, очень больна. Чем она болела, я не помню. Но болела так, что кто-то позвал доктора, а доктор — священника. Сообщили сыну, и он дал денег на гроб и похороны. Но Всемогущий еще не хотел взять эту измученную душу к Себе. Ей стало лучше, она выздоровела и, как только смогла стоять на ногах, принялась стирать. Не только наше белье, но и нескольких других семей.

— Я не могла спокойно лежать из-за белья, — объясняла старуха. — Белье не дало мне умереть.

— С Божьей помощью проживете сто двадцать лет! — сказала мама, словно заклиная.

— Избави Боже! Что хорошего жить так долго? Работать все труднее и труднее... Силы меня покидают... Я не хочу быть в тягость никому! — Старуха шептала и крестилась, поднимая глаза к небу.

К счастью, в доме было какое-то количество денег, мама подсчитала, сколько мы должны. У меня было странное чувство: монеты в высохших руках старухи казались такими же изношенными, чистыми и безгрешными, как она сама. Прачка спрятала их в платок, потом ушла, обещав через месяц вернуться за новой партией белья.

Но она не вернулась никогда. Белье, которое она принесла после болезни, оказалось результатом последнего усилия в ее жизни. К нему ее побудила неодолимая воля возратить владельцам то, что им принадлежало, и выполнить работу, за которую взялась.

И теперь наконец ее тело, так долго бывшее оболочкой, поддерживаемой лишь силой честности и долга, разрушилось. А душа поднялась в те сферы, где встречаются все светлые души, независимо от роли, которую играли на земле, от языка, от религии. Я не могу представить себе рай без этой прачки-нееврейки. Не могу даже допустить мысли, что подобные усилия не вознаграждаются.

РАСТОРГНУТАЯ ПОМОЛВКА

Мне нередко приходилось выполнять поручения папы, в частности собирать стороны для дин-торы — суда раввина. Одно такое поручение особенно живо в моей памяти. Однажды в нашем доме появился одетый по-западному молодой человек, который просил папу расторгнуть его помолвку. Я сразу же был отправлен на Крохмальную, 13, где жили невеста и ее отец.

Чтобы попасть в дом 13 из нашего дома 10, достаточно было перейти улицу. Однако нужный мне дом граничил с печально известной Крохмальной площадью, по которой слонялись карманники и хулиганы, где промышляли скупщики краденого. Даже обычная торговля велась на площади по-особому, в виде лотереи: если хочешь купить чаше, род печенья, покрытого шоколадом, тянешь из шляпы билетик или вращаешь деревянное колесо. Конечно, там жили и приличные

люди, набожные женщины и порядочные девушки, располагалось даже несколько хасидских домов учения.

Стояло лето. Площадь была запружена народом. Во дворе дома 13 играли дети, мальчики — в солдат и казаков-разбойников, девочки прыгали через веревочку. Призом служили орехи. Искушений много, очень хотелось задержаться, поиграть. Но посол есть посол.

На первом этаже дом выглядел еще более или менее солидно. Взбираюсь выше — краска на стенах облуплена, перила расшатаны, лестница грязная. Из кухонь шел пар, раздавался стук молотков, из квартир доносились жужжанье швейных машинок и пение швей, звуки граммофонов.

Те, за кем меня посылали, жили на чердаке. Я открыл дверь и увидел мужчину с пышной темной бородой, который сидел за ужином, и девушку, одетую по-современному, она подавала ему не то суп, не то борщ. Мужчина сердито взглянул на меня и спросил:

— В чем дело?

— Вас приглашают к раввину на дин-тору, — робко ответил я.

— Кто приглашает?

— Жених вашей дочери.

Он что-то проворчал. Девушка тоже сердито посмотрела на меня и обратилась к отцу:

— Ну, что будем делать?

— Надо идти, — угрюмо откликнулся он.

Мужчина доел и быстро произнес молитву. Девушка надела пальто, поправила волосы перед зеркалом, и мы все трое вышли. В таких случаях вызванные к раввину обычно начинали спорить со мной. Но отец и дочь хранили молчание, злое молчание. Так я привел их к нам в дом. Мой отец предложил мужчине сесть. Для женщин в кабинете раввина стульев не было.

Папа начал обычный ритуал вопросом:

— Кто истец?

— Я истец, — ответил молодой человек.

— И чего вы хотите?

— Я хочу расторгнуть помолвку.

— Почему?

— Потому что я не люблю невесту, — ответил жених.

Папа был явно поражен. Я покраснел.

Насколько отец невесты был угрюмым, тяжелым, настолько она была воздушной, легкой, благоухающей шоколадом и духами. Я не понимал, как можно не любить такую принцессу. Но молодой человек и сам был хорош. Что ему красивая девушка?

— Что еще? — папа подергал бороду.

— Больше ничего, ребе.

— А вы что на это скажете? — Папа так спросил, что трудно было понять, к кому он обращается, к девушке или к ее отцу.

— Я его люблю, — заявила «принцесса» сухо, почти враждебно.

Папа в большинстве случаев решал споры быстро, предлагая сторонам какой-нибудь компромисс. Но какой компромисс был возможен здесь? Он посмотрел на меня, словно спрашивал: что ты скажешь на это? Я же, как и он, был сбит с толку. Тогда папа поступил совершенно неожиданным для меня образом. Недавно возник обычай, введенный казенными раввинами, отзывать в сторону кого-нибудь из спорящих, чтобы поговорить с ним наедине. Папа осуждал подобную практику: раввин, который вершит правосудие, не должен шептаться с противниками. А сейчас он вдруг предложил отцу девушки:

— Пожалуйста, выйдите за мной.

Оба прошли в прилегающий к кабинету альков. Я, разумеется, приблизился к нему. Если есть тайна, то я должен ее знать! Дверь кабинета оставалась открытой. Слух я обратил к папе и отцу девушки, а взгляд — к юной паре. Увидеть же мне

пришлось нечто необычное. Невеста подошла к жениху, они немного поговорили, тихо поспорили, и внезапно раздалась звучная пощечина, через секунду другая. Я не помню, кто ударил первый, но знаю, что ударили оба и притом очень спокойно — не в духе Крохмальной улицы. Ударили друг друга и разошлись. Папа ничего не слышал и не видел. Отец девушки, по-моему, что-то почувствовал, но сделал вид, что ничего не заметил. На глазах моих выступили слезы, я впервые вдохнул острый аромат любви, зрелости, тайны между мужчиной и женщиной.

Я услышал слова папы:

— Если он не хочет жениться, то что можно сделать?

— Ребе, мы тоже не хотим этого, — признался отец невесты. — Он расточитель, бегает за другими девушками. Нет греха, которого бы он не совершил. Мы давно хотели избавиться от него, но он сделал дочери подарки, и только для того, чтобы их не возвращать, она говорит, что любит его. На самом деле она его не выносит, вот в чем дело. Мы не вернем подарки!

— Какие подарки?

— Кольцо, ожерелье, брошь.

— Может быть, вы пойдете на компромисс?

— Никаких компромиссов! Мы ничего не вернем! Ничего!

— Хм, понимаю. Идите теперь и, пожалуйста, пришлите ко мне молодого человека.

— Вы действительно не хотите жениться на ней? — спросил папа жениха.

— Не хочу, ребе.

— Может быть, вас обоих еще можно примирить?

— Нет, ребе, это невозможно.

— Все мироздание держится на согласии.

— С ней невозможно согласие.

— Она — хорошая еврейская девушка.

— Ребе, мы еще не женаты, а она уже точит меня из-за денег. Не позволяет мне содержать мою старую мать. В удачный сезон я зарабатываю сотню рублей в неделю и должен отчитываться в каждой заработанной копейке. Если она так ведет себя сейчас, то что же будет потом? Ее отец — скряга. Они копят деньги и стараются вытянуть из любого последний грош! В ресторане, куда я ее приглашал, она заказывала самые дорогие блюда — и вовсе не потому, что хотела есть. Она даже указывала мне, что подарить ей на Пурим. Если я приходил к ним в дом без подарка, будущий тесть раздражался. И так во всем. Они боятся, что я

как-нибудь обману их... Никогда не видел подобных людей. И для чего это все? Я не скуп. Так или иначе, все принадлежало бы ей. Получив от меня в подарок ожерелье, она побежала к ювелирам оценивать его! Ребе, такая жизнь не для меня!

— И вы серьезно хотите покончить с этим?

— Да, ребе.

— А подарки?

— Пропади они пропадом!

— Понимаю, пойдете в кабинет.

Папа подытожил все услышанное им. До беседы в алькове он ничего не знал ни о женихе, ни о невесте. Теперь все прояснилось. Он объяснил обеим сторонам, как они должны выразить свое согласие с его решением. А решение было таким. Коль скоро обе стороны отвергают друг друга, они не обязаны выполнять контракт. Однако подарки остаются у невесты.

Девушка изобразила улыбку. Но в глазах ее что-то сверкало. Мне казалось, что в них отражается золото. Только теперь я заметил в ушах у нее серьги, а на пальце кольцо с бриллиантом.

— Ребе, я хочу, чтобы он выдал нам официальную бумагу, — потребовал отец девушки.

Если не ошибаюсь, и та, и другая сторона письменно подтвердили, что прощают друг друга, как

велит обычай при расторжении помолвки. Обе подписались, что на Крохмальной само по себе необычно. Когда все кончилось, молодой человек остался сидеть. Очевидно, ему не хотелось выходить вместе с ними. Отец девушки повернулся к дочери:

— Пойдем скорее!

Тогда девушка произнесла то, что глубоко засело в моей памяти:

— Чтоб я переломала себе ноги, прежде чем встречу такого, как ты!

И хотя я был еще очень мал, мне стало ясно, что она все еще любит его. Помолвка была расторгнута только из-за скряги-отца.

КЛЯТВА

Мой папа, проводя раввинский суд, неизменно напоминал, что возражает против всяких клятв. Не только против божбы, но и против любых «честных слов», залогов, ударов по рукам в знак согласия...

— Никто не может полагаться на собственную память, — утверждал он, — и, значит, нельзя клятвенно доказывать даже то, что искренне считаешь правдой. Написано: «Не употребляй имя Божье... чтобы земля и небо не трепетали».

Мне часто рисовалось в воображении: гора Синай охвачена пламенем, Моисей стоит, держа Скрижали Завета. Внезапно раздается внушительный голос — Глас Божий. Земля дрожит и разверзается, с нею все горы, моря, города, океаны. Небеса трепещут вместе с солнцем, луной, звездами...

Но мужеподобная женщина в большом черном парике и накинутой на плечи турецкой шали ре-

шительно жаждала клятвы. Я забыл, в чем заключался спор, помню лишь, что участвовали в нем женщина и несколько мужчин. Они ее в чем-то обвиняли. Возможно, в связи с правом наследства или сокрытием денег. Дело шло, если не ошибаюсь, о довольно крупной сумме. Мужчины говорили резко, тыкали пальцами в сторону женщины, называли ее мошенницей, воровкой, награждали различными эпитетами. Но она отнюдь не молчала, она отвергала любой довод. За каждое оскорбление платила тем же или проклятием. На верхней губе ее топорщились усики. На подбородке была бородавка, из которой росла заостренная борода. Голос был грубый, мужской, напористый. И все же при всей агрессивности она, видимо, плохо переносила обвинения. После каждого из них она кричала:

— Ребе, зажгите черные свечи и откройте ковчег! Я хочу поклясться свитком Торы.

Папа весь трясся:

— Не спешите клясться!

— Ребе, во имя правды клясться можно! Я готова поклясться перед черными свечами на столе для обмывания мертвецов.

Женщина, скорее всего, была из провинции: варшавянки не настолько знакомы с подобными

клятвами и выражениями. Каждые несколько минут она направлялась к двери, словно хотела убежать. Но всегда возвращалась с новыми заверениями о своей невинности и новыми доводами против обвинителей. Вдруг она ударила кулаком по столу так, что зазвенели стаканы. Испуганный, я стоял за папиным стулом и боялся, что этот татарин в образе женщины совсем расвирепеет — разобьет стол, стулья, отцовский аналой, разорвет книги, избьет мужчин. От нее исходила злоеющая сила. Мама то и дело заглядывала в дверь.

Спор становился все ожесточеннее. Один из мужчин, красноносый и седобородый, ободрился и с новой силой стал обвинять женщину. Он обзывал ее лгуньей, воровкой и другими подобными именами. Внезапно женщина вскочила. Я думал, она бросится на своего обидчика и убьет его. Она же поступила иначе: распахнула дверцу кофчега, выхватила оттуда свиток Торы и воззвала раздирающим душу голосом:

— Клянусь священным свитком, что я не лгу!

И перечислила все, в чем клялась.

Папа вскочил, чтобы вырвать у нее свиток, но было уже поздно. Ее противники стояли, оцепенев, окаменев. Голос женщины стал хриплым, прерывался рыданиями. Она целовала покрывало

свитка и рыдала таким разбитым, воющим голосом, что вспоминался плач по покойнику или отлучение.

В комнате воцарилась гнетущая тишина. Папа стоял бледный и тряс головой, как бы что-то отрицающая. Мужчины, смущенные, сбитые с толку, глядели друг на друга. Женщина ушла первой. Потом они. Папа некоторое время стоял в углу, вытирая слезы. Он всегда удерживал людей даже от обещаний, а эта женщина поклялась Торой, в нашем доме, на нашем свитке. Папа опасался жестокой кары. Он подошел к ковчегу, медленно открыл дверцу, подвинул свиток, поправил дощечки, удерживавшие свиток. Казалось, он хочет попросить у Торы прощения за случившееся. Мама, глубоко взволнованная, ходила по кухне.

Обычно после тяжб папа обсуждал с мамой предмет спора. На этот раз он молчал. Было похоже на то, что взрослые договорились не касаться случившегося. Зловещее молчание царило в доме несколько дней. Отец задерживался в хасидской молельне. Он уже не беседовал со мной. Однажды, впрочем, сказал, что просит у Всевышнего одного — избавить его от необходимости зарабатывать на жизнь в качестве раввина. Я часто слышал знакомые вздохи и шепот:

— О, горе, горе. Отец наш добрый!

Иногда он добавлял:

— Сколько еще? Сколько еще?

Я понимал, что это значит: сколько еще продлится горечь изгнания, сколько еще будет прать Сатана?

Случай постепенно был забыт. Папа стал опять доступен, возобновил беседы со мной, начал повторять хасидские притчи. Тяжба была летом. Потом прошли три недели траура по разрушенному Храму, затем девять дней и 9 ава. С 15 ава папа вернулся к изучению Талмуда по вечерам. Наступил месяц элул, в хасидской синагоге в нашем дворе каждый вечер звучал шофар, отпугивая Сатану. Все встало на свои места. К семи утра уже совершив утреннее омовение, отец готовился к ежедневным занятиям. Готовился тихо, чтобы никого не разбудить.

Но однажды посреди дня мы услышали страшный стук в дверь. Обычно люди приходили с вопросами к раввину к концу дня. Стучать так сильно и настойчиво могла только полиция. По Субботам у нас собиралось какое-то количество молящихся, хотя разрешения на это у отца не было. Он всегда боялся, что его, не дай Бог, посадят. По существующим законам он даже не имел права уст-

раивать свадьбу или развод. Конечно, местные начальники регулярно получали от него небольшие суммы. Кто знает, что может вдруг решить полиция? В дверь настойчиво стучали, но папа боялся открыть. Мама надела халат и пошла к двери. Я за ней, дрожа от восторга: сейчас увижу у нас в доме полицейского в мундире! Мама спросила по-польски, еще не открыв двери.

— Кто там?

— Откройте! — ответили ей на идише.

Я побежал обрадовать папу: к нам пришел еврей, а не полицейский. Папа быстро поблагодарил Создателя.

Вернувшись бегом на кухню, я с изумлением увидел женщину, которая клялась Торой. Мама провела ее в кабинет, из спальни вышел папа.

— Хм, в чем дело? — сердито спросил он.

— Ребе, я — женщина, которая поклялась... — начала она.

— Хмм, ну? Ну?

— Ребе, я хочу говорить с вами без свидетелей.

— Выйдите! — обратился к нам папа.

Мы с мамой вышли. Мне ужасно хотелось послушать, но женщина угрюмо посмотрела на меня, дав понять, что знает мои штуки. Ее лицо заострилось, стало суше, бледнее. Из комнаты доносились

бормотание и вздохи, которые чередовались с молчанием, потом опять шепот. В это холодное утро элула что-то происходило, однако я не мог понять что. Мама вернулась в постель, я тоже. У меня, усталого, отяжелели веки, но заснуть по-настоящему я не мог. Прошел час, отец не возвращался, в кабинете всё шептались. Когда я начал засыпать, дверь отворилась и вошел папа. Лицо его было белым.

— Что случилось? — спросила мама.

— О, горе, горе! — отвечал отец. — Горе нам всем, это конец света, конец всех концов!

— В чем дело?

— Лучше не спрашивай! Время Мошиаху прийти! Всё в таком состоянии... «Ибо воды пришли в мою душу...»

— Скажи, что случилось!

— Ужас, женщина поклялась ложно. Она не находит себе места. Сама призналась... Подумать только — ложная клятва перед свитком Торы!

Мама, сидя в постели, молчала. Папа принялся раскачиваться, но не так, как обычно. Его тело наклонялось взад и вперед, как дерево под ураганным ветром. Снаружи на лицо его падал отсвет восходящего солнца, и борода горела, как пламя.

— Что ты ей сказал, папочка?

Отец гневно посмотрел на меня.

— Что? Ты не спишь? Спи!

— Папочка, я все слышал!

— Что ты слышал? Склонности к злу сильны, очень сильны! За кучку денег человек способен продать свою душу! Она поклялась, поклялась на Торе! Но она раскаялась. Несмотря ни на что, она настоящая еврейка. Даже Навузардана простили, когда он покаялся. Нет греха, которого нельзя было бы смыть раскаянием! Раскаяние помогает всегда!

— Она будет поститься, а?

Отец внезапно воскликнул:

— Прежде всего ей надо вернуть деньги, ибо написано: «Ты должен восстановить то, что взял силой». Скоро Йом Кипур. Если раскаяться от всей души, Всемогущий, благословенно имя Его, простит. Милосердный и прощающий Бог!

Позднее я узнал, что женщину терзали кошмары. Она не могла ночью спать. Ей виделись покойные родители, одетые в саваны. Отец наложил на нее покаяние — поститься по понедельникам и четвергам, раздавать милостыню, воздерживаться от мясного, за исключением Субботы и праздников. И обязательно вернуть деньги. Помню, люди, обвинявшие ее, появились в нашем доме еще раз.

Папа много лет вспоминал эту историю. Если во время тяжб кто-нибудь пытался прибегнуть к клятве, раввин рассказывал ему об этой женщине. По-моему, свиток Торы тоже помнил эту историю и, когда бы папа ни повторял свой рассказ, по ту сторону бархатного покрывала на ковчеге прислушивался к папиным словам.

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СТА РАВВИНОВ

Время от времени к папе приходили люди, которым требовалось так называемое «разрешение от ста раввинов». Как известно, давным-давно Рабейну Гершом запретил многоженство. Но что делать человеку, если его жена потеряла рассудок? Развестись в этом случае не разрешается. А если жена убежала в Америку? И такое может произойти. Тогда раввин, который знакомится с обстоятельствами, освобождает «пострадавшего» от запрета еще раз жениться. Выданный им документ должны подписать еще сто раввинов.

Люди состоятельные, намеренные вторично жениться, не обходили раввинов сами, а нанимали для этого агентов, которые ездили из местечка в местечко, собирая подписи.

На сей раз к папе явился сам муж, молодой человек с белокурой бородой, в очках с металлической оправой, маленькой шапочке, укороченном

сюртуке, при галстуке, ботинки его сверкали. Он казался преуспевающим человеком, но вполне благочестивым. На листе бумаги, переданном им отцу, уже стояло пятьдесят или шестьдесят подписей, подкреплённых различными печатями — круглыми, квадратными и треугольными, черными, красными, синими и зелеными. И какие разные подписи! Одни раввины выводили свои имена мелкими изящными буквами, другие занимали своей размашистой подписью целую строку, один писал лишь свое имя, другой добавлял имя отца и даже деда. Подпись какого-то раввина вообще нельзя было разобрать — дикие неправильные каракули заканчивались то хвостом, то крючком, то кляксой. У другой подписи буквы, круглые и пузатые, дышали невообразимым самодовольством. Папа долго изучал документ.

— Неужели это все правда? Смилуйся, Боже! Она ведь сумасшедшая! Да еще и скандалистка... И не хочет развода? Она сделала вашу жизнь несчастной? Конечно, я подпишу.

Папа поставил свою подпись под документом. Молодой человек осторожно промокнул свежие чернила вынутой из кармана промокательной бумажкой.

— Ребе, вы не можете себе представить, сколько я перестрадал из-за этой страшной женщины, — признался он.

— Все написано в бумаге.

— Ребе, там нет и тысячной доли!

— Да воображаю!

— Вы когда-нибудь слышали, чтобы женщина в ночь сейдера разбила все тарелки и вылила бульон с кнейдлах на постель?

— Не может быть! Она действительно сумасшедшая! Несчастливая, — задумчиво произнес папа.

— Да, она сумасшедшая, — подтвердил молодой человек, с минуту подумав. — Но злобы в ней еще больше, чем безумия. Я всегда мог себе представить, что есть злые люди, — эта змея перешла все границы! Все началось еще с помолвки. Ее отец пригласил меня, чтобы познакомить нас. В конце концов, сейчас не старое время. Молодые люди хотят узнать друг друга до свадьбы. И ее мать настаивала на этом. Моей семье это не очень понравилось, отец — ученый человек, был любимым учеником Александерского ребе. Однако мы согласились. Я последовал за невестой в ее комнату, где она повела разговор со мной. Но как и что она говорила! Как потешалась надо

мною! Приведенный в замешательство, я не знал, что отвечать. А ее родители ждали в соседней комнате. Как бы то ни было, я не придавал этому значения. Узнай об этом тогда отец, он тут же разорвал бы помолвку. Мне же казалось, что все уладится: девушка просто прониклась новыми идеями. Что я понимал? Сват все сгладил, убеждая меня, что это пустяки и не следует тревожиться... Она отказалась остричь волосы, как это полагается перед свадьбой. Моей дорогой маме, дочери раввина, было стыдно людям в глаза глядеть! Теща извинялась, обещала постричь дочь утром после свадьбы. А когда мы за свадебным столом ели куриный бульон, она смеялась надо всем! Потом она...

Он взглянул на меня и потребовал:

— Пусть он уйдет!

— Выйди! — попросил меня папа. Я вышел, не торопясь, мелкими шажками. Вышел, но оставил дверь приоткрытой. Молодой человек, по-видимому, заподозрил, что я подслушиваю, и заговорил вполголоса, почти шепотом. До меня доносились только папины восклицания:

— Господи, как это ужасно!

— Подождите, это еще не все... — спешил сообщить гость.

Он снова стал шептать, так что я слышал только унылое жужжание. Папа кашлял и наконец прервал его:

— Ну, ну! Хватит, достаточно!

— Здесь правда каждое слово!

— Даже если так, не надо продолжать...

— Вы еще не все слышали...

Я открыл дверь и спросил:

— Папочка, можно войти?

— Да, но не слушай ничего, это не для детей.

Возьми книгу, займись.

Я смотрел в книгу и, несмотря на запрет, слушал, что говорил молодой человек.

— Следовало бы бежать, но мне было стыдно.

Когда женишься, приходится потратиться, отец даже влез в долги из-за меня — и от всего отказаться? Я очень страдал, но думал, кто знает, может быть, это лишь временное безумие, и оно пройдет. Дальше — больше. Жена развернулась вовсю, показала, как говорится, на что способна. Она практически никогда не спала. Всю ночь сидела в постели, оскорбляла меня, источала огонь и злобу. Оскорбляла она и собственных родителей. Настраивала себя против всего мира. Все ее обижали! Придумывала то, чего никогда не было, и плакала горько, заливала кровать слезами.

Чаще всего она жаловалась на меня. За что? В ней сидел черт! Позднее она сама призналась, что любит другого.

— Другого?

— Да. Сапожника, которого взяли в армию. Мне говорили, что он ее отверг. Во всяком случае, как она могла даже думать о простом сапожнике? Ее отец, хоть и не любил людей, постоянно раздражался, однако оставался почтенным человеком. У всех членов семьи был дурной характер. Разозлясь, они могли разорвать вас на куски. Рассказывали, что однажды в Субботу тестю в синагоге предложили торжественно вынести Тору перед всей общиной, он уронил свиток на пол и за это должен был поститься сорок дней. Как он рассердился тогда! Как-то в пятницу, когда ему не понравилась рыба, он посреди трапезы встал из-за стола и ушел спать. Теща была своих дочерей, сестер моей жены, деревянной палкой. Представляете себе, куда я попал?!

— По крайней мере, теперь вы избавились от них, — пытался успокоить его папа.

— Избавился, говорите? Это чудо, что я не заболел. Сначала она потребовала, чтобы я сбрил бороду, потом ей захотелось уехать в Америку. «Подумай хорошо, — говорил я, — надо все взве-

сильно». Но как можно убедить в чем-то сумасшедшую? Моя дорогая мамочка увидела, что происходит, и стала настаивать на разводе, но она не согласна была разводиться. «Зачем? — спросила она. — Чтобы ты мог жениться на другой? Нет, останешься, где ты есть!» Собственно, чего от нее можно было ожидать? Ее семья происходит из Литвы или черт знает откуда. Теща как раз из Великой Польши, лишь с отцовской стороны они из Межерича. После бессонных ночей я не знал, на каком свете нахожусь. Однажды при утреннем омовении я разлил немного воды на пол. Что было! Пол в этом доме должен сверкать, как хрусталь! По нему опасно ходить — так он натерт. Что это за город, кстати? У каждого свой характер. Все судят обо всех, рвут друг друга на части! Молодые мужчины затеяли со мной ссору, потребовали, чтобы я отказался от Александерского ребе и перешел к Порисовскому. Но я не его хасид. Вероятно, им просто хотелось вызвать скандал. Тестя меня поддерживал, а потом присоединился к моим противникам. Я чужой в городе. При моей попытке уехать домой, к родителям, они запретили кучеру меня везти. У того, когда я приходил к нему, появлялись разные причины: то слишком много пассажиров, то еще что-нибудь —

всякая чушь. Тесть, извините за выражение, — задира, дружит с хулиганами. Его все боятся, потому что он ведет дела с акцизным начальством. А теща — страшная женщина, сплошная желчь! В этом доме меня почти не кормят, когда я снова захотел уйти к родителям, они спрятали мою одежду... Вы, может быть, не верите мне?

— Почему я должен не верить вам? В мире есть плохие люди.

— Плохие, говорите вы? Это дьяволы! И говорят они между собой на особом языке, так что хочется и смеяться, и плакать. Вот они затевают драку — не на жизнь, а на смерть. Через минуту уже смеются и обращают все в шутку. Затем новый взрыв — и все сначала. Театр, да и только! Когда в городе освободилось место раввина, тесть хотел, чтобы я его занял. Он — влиятельный человек в общине, все чиновники — его друзья. Но нужно было выдержать экзамен. Они потребовали, чтобы я учил русский. Мне эта идея не очень понравилась, хотя есть маленькие учебники Неймановича. Короче говоря, скоро я понял, что это не для меня. Тут они все взбесились. Жена стала меня бить, просто безжалостно избивать. Бросала в меня горшки, тарелки — все, что попадало под руку. Даже разорвала мой талес.

Я пытался убежать, но она, подобно тому, как внезапно начинала издеваться надо мной, вдруг становилась нежной, ласковой:

— Что ты валяешь дурака? Шуток не понимаешь?

И вся семья смягчилась, я стал для них свой. Тесть даже хотел вовлечь меня в свое дело. Но не прошло и недели — тучи опять сгустились над моей головой. Она меня снова бьет, оскорбляет, а ее младшая сестра обзывает нехорошими словами, прыгает на меня, как дикий зверь. Что я сделал? Неизвестно. Легче получить ответ от волка. Кончилось тем, что мой дорогой папочка сказал:

— Это тесто никогда не взойдет!

Мы пригласили их к раввину, но они отказались прийти. Люди передали мне, что тесть нанял против меня хулиганов. Они могут, не дай Бог, и убить!.. Как рассказать вам все? Я так страдаю уже четыре года, каждый день чувствую себя, как грешник в аду. Не понимаю, почему еще живу. Самое здоровое сердце может не выдержать. Пятьдесят раз они соглашались на развод, когда же доходит до дела, все остается на своем месте. Даже раввин боится связываться с ними. Они не постесняются вырвать кусок из

горла у любого. А если нападут на кого-нибудь, жизнь того становится горькой, как желчь. Это не просто негодяи — это сумасшедшие негодяи...

Папа вытер лоб платком.

— Слава Богу, вы смогли выбраться из их сетей.

— Да, но теперь нас хотят помирить.

— Помирить?! После всего этого? Какой же смысл?

— Ну, в конце концов, какой-то смысл есть...

— Но вы все время разъезжаете, откуда им известно, где вы?

— Я приезжаю к родителям на праздники.

— Ваш дом в том же городе?

— Поблизости...

— Но какой смысл? Господь сказал: «Нет мира с порочными...» Нельзя мириться с негодяями.

— Да, конечно. Но люди любят вмешиваться. Теперь она мне сообщает через посредников, что во всем виновата ее мать, теща.

Папа ничего не говорил. Замолчал и молодой человек. Сняв очки, он стал протирать стекла грязным платком. Потом наморщил лоб и спросил:

— Если... как-то... мы придем к согласию после всего... нужно ли снова заключать брак?

— Что?... Зачем? Разрешение не отменяет брака.

— А пока я хочу собрать все подписи для освобождения...

И снова слышался его шепот — смесь пения с плачем...

ТАЙНА

Дверь отворилась, и вошла женщина в платке (редкое явление в Варшаве), желтолицая и с желтыми глазами, толстыми губами, широким носом. Грудь ее выступала, как балкон. Большой фартук прикрывал живот. На ногах у нее были бесформенные туфли. Во всем ее облике было что-то от простолюдинки. Она походила на служанку или бедную рыночную торговку. Женщины этой категории обычно спрашивали, дома ли раввин, и мама посылала их в соседнюю комнату. Но эта осталась стоять у двери и смотрела на маму умоляющим ^{р.}взглядом.

— Вы хотите справиться о чем-то интимном? — поинтересовалась мама, подойдя к ней.

— Дорогая ребецн, я сама не знаю, чего хочу. Я должна кому-то открыться, излить душу. Не могу я держать это в себе, оно меня душит. Да мину-

ет вас всякое зло, оно меня душит! Вот здесь, здесь...

Она указывала на горло. Рыдания как бы рвались из нее, лицо покраснело, по нему потекли слезы. Сидя на скамеечке в углу с книгой в руках, я сразу почувствовал, что услышу что-то необычное. Мама, судя по всему, забыла обо мне, а женщина не обратила на меня внимания.

— Дорогая ребецн, — начала она, всхлипывая, — я согрешила. Сердце мое разбито...

В глазах у нее были и слезы, и смех — так бывает, когда человек очень сильно плачет. Мама усадила ее на сундук, который служил у нас и скамьей.

— Если раскаиваешься искренне, Бог тебя прощает, — произнесла она с ученым видом.

Мама знала Писание не хуже отца. Была знакома с такими трудными книгами, как «Обязанности души», «Дорога праведных», и не в переводах, а в оригинале, на иврите. Она знала множество законов, могла цитировать изречения мудрецов и притчи. Ее слова звучали убедительно.

— Как я могу раскаяться, если этот человек еще жив? — спрашивала, продолжая всхлипывать, женщина. — Кто знает, не враг ли он евреев? Кто знает, не бьет ли он их? Чем помогут мне

угрызения совести? Каждый раз, когда я вижу живодера или пьяницу, я боюсь, что это он. О ребецн, мое преступление так велико! Я потеряла сон, не могу сомкнуть глаз. И чем дальше, тем хуже. Лучше бы я не родилась...

Мама молчала, и я видел по ее лицу, что она понимает, в чем дело. Сам же я ничего не мог понять. Вскоре, однако, все разъяснилось.

Много лет назад эту женщину кто-то соблазнил. Она родила ребенка и подкинула его в корзине к воротам костела, а когда через несколько часов вернулась, корзины уже не было. Вероятно, младенца отнесли в приют. Бедная девушка, сирота, она боялась спрашивать о нем, заставила себя все забыть. Позднее, выйдя замуж, она родила других детей, теперь у нее уже внуки. Всю жизнь она тяжело трудилась и почти забыла о происшедшем. Но с годами оно мучило ее все больше и больше. Она была матерью нееврея! Кто знает? Может быть, он вырос и стал городовым? Злым человеком, вторым Оманом? Возможно, она бабушка кучи неевреев? Горе ей и ее старости! Как может быть прощен такой грех? Сколько еще осталось ей жить? Как защитит себя на том свете? Пусть будет проклят день, когда она позволила себе совершить это зло! Ее жизнь преврати-

лась в пытку. Нечистая, оскверненная, она не смела войти в синагогу. Как посмеет такая женщина молиться? Она достойна только презрения! Если бы Господь послал Ангела Смерти освободить ее...

Посетительница снова разразилась жалобами и стонами. Мама, бледная, со стиснутыми губами, пока не пыталась утешать ее, и это показало мне, насколько велик грех.

Наконец мама заговорила:

— Что вы можете сделать? Только молиться Всемогущему.

Через некоторое время она добавила:

— Наш праотец Авраам тоже породил неевреев, целые народы.

— Ребецн, как вы думаете, не следует ли мне попросить совета у раввина? — с надеждой спросила женщина.

— Чем он может вам помочь? — усомнилась мама. — Раздайте деньги бедным. Если у вас хватит сил, поститесь. Но не делайте больше, чем позволяет ваше здоровье.

— Ребецн, говорят, что подобные дети становятся пожарными и им не разрешают жениться, чтобы они всегда, если позовут, готовы были броситься в огонь.

— Что? В таком случае он по крайней мере не породит неевреев.

— Ребецн, ему сейчас должно быть примерно сорок лет. Мне сказали, если зажечь сорок свечей и прочесть тайное заклинание, он умрет.

Мама содрогнулась.

— Кто это вам сказал? Жизнь и смерть в руках Бога. И в конце концов, он не виноват. В чем его вина? Есть выражение в Талмуде для таких, как он: «дитя, взятое в плен». Он не виноват. Разве во времена проклятого Хмельницкого не крестили многих еврейских детей? Счет ведет Всевышний. Тот, кто сказал вам про свечи, не понимал, что говорит! Нельзя молить о смерти кого бы то ни было — если только не знаешь наверняка, что этот человек порочный и творит зло...

— Откуда мне знать? Я, да простит меня Бог, знаю только, что жизнь моя горькая и мрачная. Иду по улице и смотрю на людей. Сердце мое, должно быть, крепче железа, раз оно еще не разбилось. Иду с одной улицы на другую, и каждый нееврей, проходящий мимо, кажется мне моим сыном. Я хочу побежать за ним, спросить его, но боюсь. Примут меня за сумасшедшую. Как я действительно не сошла с ума, одному Богу известно.

Ребецн, если бы кто-нибудь заглянул мне в сердце, он содрогнулся бы!

— Вы, я думаю, уже искупили свой грех.

— Что мне делать? Посоветуйте!

— Как это случилось? Где отец ребенка?

Женщина стала рассказывать более подробно. Деталей я уже не помню. Она была служанкой в богатом доме. Работник, который обещал жениться, соблазнил ее своими баснями, гладкими речами, а когда узнал, что она беременна, исчез. Разве для мужчины такое имеет значение? Она затем вышла замуж за вдовца. Тут женщина заговорила совсем тихо, почти шепотом. Мама слушала ее и кивала головой. Через некоторое время все-таки решили спросить совета у папы. Мама вошла в кабинет, чтобы подготовить его, объяснить, в чем дело. Вскоре до меня стали доноситься папины вздохи. Крохмальная улица не давала ему покоя своими постоянными тревогами и волнениями, невежеством.

Женщина тоже вошла в кабинет. Папа снял с полки стопку книг и долго что-то искал в них, подергивая свою бороду. В священных книгах он часто читал об убийствах, кражах, несправедных людях. Но в книгах все это было частью Закона, имело словесное выражение, записанное священными

письменами, хранящими привкус Торы. На повседневном же, обычном языке такие вещи звучали иначе. Женщина с Крохмальной бросила своего ребенка. Его крестили, он перестал быть евреем. В книгах говорилось, как искупить такой грех, — вопрос в том, готова ли несчастная принять наказание? Что, если оно ей не под силу? Нынешние люди слабы. Папа опасался за ее здоровье. Тогда он согрешит еще больше, чем она...

Из своего угла я слушал, какие вопросы папа задавал женщине. В порядке ли у нее сердце? Не болеет ли она чем? Нет ли у нее постоянного кашля? Наконец, отец предписал покаяние: не есть в будни мяса, поститься по понедельникам и четвергам, если сердце позволит, читать псалмы, раздавать милостыню.

Женщина продолжала плакать, жаловаться. Отец утешал ее. Конечно, греха следует избегать, но ошибку всегда можно исправить. Человек должен делать то, что в его власти, а в остальном полагаться на Бога, ибо «от Него исходит всякое добро». Даже то, что представляется злом, со временем может оказаться добром. В сущности, зла нет. Папа уподобил мир плоду с кожурой. Глупое дитя думает, что кожура бесполезна, раз ее нельзя есть, но она служит защитой плоду. Без нее он бы сгнил,

или его съели бы черви. Так и неевреи. Написано даже, что Бог предложил Тору сначала Исаву и Измаилу и только после их отказа от нее вручил Великую Книгу евреям. Наступит время, когда и неевреи узнают истину, и праведники среди них войдут в рай...

От папиных слов сердце женщины таяло, как воск, и она стала плакать еще сильнее. Но теперь в ее плаче зазвучало нечто от радости. Глаза ее сияли. Он, по сути дела, говорил то же, что и мама, но его слова были как-то теплее, интимнее. Женщина, бесконечно благословляя всех нас, отца, маму и даже меня, ушла. Она сожалела лишь о том, что все эти годы несла свое горе в себе. Ей следовало давно победить стыд и пойти к праведнику, излить ему горечь души. Папа снял с нее тяжкое бремя...

После ее ухода папа зашагал по кабинету взад и вперед. Я вернулся на кухню к своей книжке. Я читал об императорах, принцах и принцессах, диких лошадях, разбойниках, пещерах. Рассказ женщины представился мне частью этих фантастических историй.

Спустя несколько дней в доме напротив случился пожар. Я выбежал на балкон и увидел все: приезд «верхового для проверки», прибытие пожарных

на длинных повозках, запряженных конями, которые, казалось, вот-вот вырвутся. Через минуту подняли лестницу, и пожарные в сверкающих касках, с крючьями на поясах невероятно быстро приставили ее к окну, откуда валил дым. Другие раскручивали шланг. Улица сверкала от меди и всевозможных орудий неизвестного мне назначения. Из дворов бежали толпы детей, городовые отгоняли их, улица была черная от людей. Внезапно я подумал, что один из пожарных может быть сыном этой женщины. Я поискал его глазами и скоро нашел. Да, этот, с длинным лицом и темными усами. Он ничего не делал, только смотрел наверх. С каждой минутой во мне росла уверенность в том, что это он... А что, если спуститься и открыть ему тайну? Или бросить вниз записку? Но он не знает еврейского... Человек почувствовал мой взгляд, поднял глаза, посмотрел на меня и погрозил кулаком — обычный жест нееврея по отношению к еврейскому мальчику.

— Вы еврей! Еврей! Потомок Авраама, Исаака и Якова! — шептал я ему. — Я знаю вашу мать... Покайтесь!

Он скрылся среди прочих пожарных. Наверное, бежал от моих слов, как Иона от Бога... Я так увлекся своей фантазией, что не заметил, как поту-

шили пожар. Ужасная мысль посетила меня. Может быть, я тоже подкидыш? Может быть, я на самом деле не сын своих родителей, а был положен в колыбель какой-нибудь служанкой, и мама подумала, что это ее ребенок? Если детей бросают и подменяют, откуда можно знать, у кого чей ребенок?

В уме моем накопилось много вопросов, много загадок. Взрослые многое от нас, детей, скрывают. Но есть главная тайна. Мама, вероятно, знает, что я не ее сын, и не потому ли она так часто меня ругает?

В горле моем образовался комок, к глазам подступили слезы. Я побежал на кухню и спросил маму:

— Мама, я на самом деле твой сын?

Мама испуганно смотрела на меня:

— Боже милостивый, ты сошел с ума?

Я молчал, и она решительно заявила:

— Надо вернуть тебя в хедер. Растешь, как дикий зверь!

БОЛЬШАЯ ТЯЖБА

Папе на суд приносили обычно мелкие дела. Просто недоразумения. Спорили о суммах в двадцать, самое большее сорок рублей. Я слышал, что некоторым раввинам доставались дела на тысячи рублей, при этом каждая сторона имела своего защитника. Но такое бывало лишь у богатых раввинов, живших не в нашей части Варшавы, а на севере города.

Однако как-то зимой к папе обратились с большим спором. Я и сейчас не понимаю, почему эти богатые люди выбрали своим судьей именно его, наивного, далекого от жизни. Мама волновалась, боялась, что отец не разберется в сложных материях. Что касается папы, то он рано утром взял «Хошен Мишпот» и погрузился в чтение — если ему не дано разбираться в коммерции, он по крайней мере утвердится в законе. Вскоре при-

шли спорящие в сопровождении своих поверенных, тоже раввинов.

Один из спорщиков, высокий, с редкой черной бородой и сердитыми угольно-черными глазами, был в длинной меховой шубе и меховой шапке. На красной подкладке снятых им сверкающих галош я увидел буквы — мне объяснили, что это монограмма. Во рту он сжимал янтарный мундштук сигары. От него исходила аура важности, учености и проницательности. У раввина, которого он привел, были молочно-белая борода, молодые смеющиеся глаза и круглый животик, на шелковом жилете у него болталась серебряная цепочка.

Второй спорщик, маленький, седой, в лисьей шубе и с толстой сигарой в губах, привел защитника с широкой желтой бородой, крючковатым птичьим носом и под стать ему круглыми птичьими глазами.

В нашем доме самым важным считалось изучение Торы, эти же люди принесли с собой нечто мирское. Раввины-поверенные обменивались остротами, улыбались хорошо отработанными улыбками. Мама подала чай с лимоном и пирожками, оставшимися от Субботы, и раввин со смеющимися глазами решил схохмить:

— Ребецн, нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы было лето?

Этот человек не отводил, подобно папе, глаз в присутствии женщины, смотрел прямо на маму. Она покраснела, как школьница, и, казалось, не находит слов.

— Если у нас зима, то, вероятно, так нужно, — парировала она, быстро овладев собой.

Вскоре началось слушание дела. Оспаривались тысячи рублей. Я изо всех сил старался понять, о чем спор, но не мог ухватить нить. Речь шла о продаже, покупке, заказе вагонов с грузом, чистом весе, валовом доходе, счетах, прибылях, расписках... Раввины-поверенные хорошо разбирались в биржевых терминах, а папа постоянно просил что-то ему разъяснить. Я, его сын, был озадачен и страдал, стыдясь за него. То и дело спор прерывали жившие по соседству с нами женщины, прибежавшие к раввину спросить, кошерный ли только что зарезанный цыпленок.

Тяжба продолжалась несколько дней. За это время я узнал, что не все раввины похожи на папу. Эти двое вынули «вечные» ручки и выводили на бумаге круги, квадраты, линии. Каждые несколько часов они желали «освежиться» и посылали ме-

ня за яблоками, пирожками, даже колбасой и мясом. Отец никогда не ел мяса, купленного в лавке, даже строго кошерного. Но эти раввины ели копченое мясо и судили о его качестве со знанием дела. Спор прерывался и когда кто-нибудь из раввинов рассказывал анекдот. Второй, как правило, не желал отставать и сообщал свой. Говорили о чужих странах, курортах, эти раввины побывали в Германии, Вене и других местах. Папа, который сидел во главе стола, как-то съежился в присутствии этих «светских священников».

Через некоторое время я, к своему изумлению, стал понимать, что раввинов не очень интересует, кто прав и кто виноват, кто врет, а кто нет. Каждый искал ходы и лазейки, чтобы оправдать свою сторону, опровергнуть доводы противника.

Мне не понравились эти хитрые раввины, но я завидовал их детям. Из разговоров я понял, что у них в домах есть ковры, диваны, всякие красивые вещи. Иногда кто-нибудь даже говорил о своей жене, что было удивительнее всего, — я никогда не слышал, чтобы папа при других мужчинах упоминал маму.

Чем дольше продолжалась тяжба, тем становилась сложнее. Стол был покрыт толстым слоем

бумаг, расчетов. Явился бухгалтер с гроссбухами. Настроение высокого чернобородого спорщика то и дело менялось, вот он говорил спокойно, размеренно, словно каждое его слово было на вес золота, а через секунду начинал кричать, стучать кулаком по столу и угрожать, что вынужден будет обратиться в светский суд. Седой человечек отвечал зло, резко, показывая, что не боится никакого суда. А оба поверенных, хотя и вели между собой войну, любезно болтали, зажигали друг для друга спички, обменивались изречениями раввинов, ученых и знаменитых законовевдов. Папа почти перестал говорить и добиваться объяснений, с тоской поглядывал на книжный шкаф: на споры этих богачей приходится тратить время, которое он бы отдал Торе, ему очень хотелось вернуться к своим книгам и комментариям. Но в его жизнь ворвался мир с его расчетами и фальшью.

Меня все за чем-то посылали, один — за папиросами, другой — за сигарами, посылали за польской газетой и чаще всего за различной едой. Я не представлял себе, что можно столько есть, столько различных сладостей и деликатесов. И все это в будни! Раввин со смеющимися глазами захотел сардин! Очевидно, раввины не

отказывали себе ни в чем, потому что платили спорщики. Они сами говорили об этом открыто, как бы подшучивая, и подмигивали.

Весь последний день прошел в непрерывном шуме. Каждые несколько минут один из спорщиков бросался к двери, и соответствующий раввин возвращал его. Может быть, это была игра? Я понял, что они часто говорили не то, что думали. Разозлившись, они обращались друг к другу крайне вежливо, а довольные — притворялись рассерженными. Когда один из раввинов выходил, оставшийся перечислял все его грехи и слабости. Однажды раввин со смеющимися глазами пришел на полчаса раньше всех и стал оговаривать своего противника — желтобородого с птичьими глазами:

— Он такой же раввин, как я английский король.

Папа остолбенел.

— Как это возможно? Я знаю, что он принимает решения по ритуальным вопросам.

— Решения, ха...

— Но если это так, он может (не дай Бог, чтобы подобное произошло) позволить евреям есть некошерную пищу.

— Ну, он может справиться в «Бэер зйтев»⁶. Он уже был в Америке.

— Что он делал в Америке?

— Шил штаны.

— Вы серьезно? — папа вытер лоб.

— Да.

— Ну, он, вероятно, нуждался. Написано, что лучше свежевать скотину, чем побираться... Работа не позор.

— Конечно, но не всякий башмачник — рабби Йоханан...

Папа признался маме, что был бы счастлив, если бы эту тяжбу решал другой раввин. Он уже сильно отвлекся от своих научных трудов и не в силах распутывать все эти «дробь» (так отец называл любое арифметическое действие, более сложное, чем сложение, вычитание и умножение). Ему представлялось, что спорщики в любом случае могут не согласиться с его решением. Он опасался также, что дело передадут в суд и его вызовут в качестве свидетеля. Одна мысль появиться перед чиновником, клясться на Библии, сидеть среди полицейских приводила его в ужас. Он стонал во сне, а утром поднимался раньше

⁶ «Хорошее разъяснение» (*иврит*) — облегченный вариант свода законов.

обычного, чтобы прочесть молитвы в тишине и просмотреть хотя бы страницу Талмуда. Он ходил по кабинету и вслух дрожащим голосом молился:

— О Господи, душа, которую Ты дал мне, чиста. Ты создал ее, сформировал и вдохнул в меня. Ты сохраняешь ее во мне, и Ты возьмешь ее, а потом вернешь мне...

Он не просто читал молитву — казалось, он защищал свое дело перед Владыкой Вселенной. По-моему, он никогда не целовал с таким жаром тфилин и кисти талеса.

Наконец наступил последний день тяжбы, самый бурный из всех предыдущих. На этот раз не только спорщики, но и раввины кричали. Преведняя их дружба испарилась, они теперь ссорились и оскорбляли друг друга, давали выход накопившимся страстям, пока не обессилели. Папа вынул платок и велел спорщикам ухватиться за него в знак подчинения его приговору. Я стоял рядом и дрожал, уверенный, что папа ничего не понял из этих запутанных фактов и сейчас произнесет приговор, который будет уместен не больше, чем пощечина в знак субботнего приветствия. Однако выяснилось, что папа прекрасно разобрался в споре. Он прочел свою старую

испытанную формулу компромисса: делить поровну...

На некоторое время воцарилось молчание. Ни у кого не было сил говорить. Высокий спорщик с редкой бородой уставился на папу дикими глазами, маленький скорчил гримасу, будто проглотил что-то кислое. Желтоглазый раввин цинично улыбнулся, показав желтые зубы, один из которых был покрыт золотом, и это убедило меня, что он действительно был в Америке.

Придя в себя, они снова начали спорить, кричать. Тогда папа заявил:

— Я спросил, хотите ли вы решения только в свою пользу или согласитесь на компромисс.

— Но и компромисс должен быть разумным!

— Это мое решение. У меня нет казаков, чтобы навязать его вам силой.

Раввины удалились со своими клиентами на совещание. Они шептались, спорили, жаловались. Помню, что громче всех протестовала та сторона, которая больше выигрывала от решения. Через некоторое время они, судя по всему, пришли к выводу, что компромисс не так уж плох и, вероятно, лучшего выхода нет. Спорщики, бывшие деловыми партнерами, пожали друг другу руки.

Раввины опять отправили меня за «освежающим» для восстановления сил после битвы. Они уже превратились в старых друзей, один даже рекомендовал другому взяться за некое известное ему дельце. Когда все ушли, в кабинете остались сигарный дым, кожура от фруктов, остатки деликатесов. Папа получил щедрый гононар — двадцать рублей, кажется, но видно было, что у него остался неприятный привкус. Он попросил маму поскорее очистить стол, открыл окно, чтобы выпустить запахи богатства и суеты. В конце концов, спорщики были коммерсантами, а вот чересчур бойкие раввины его глубоко огорчили.

Папа уселся за чистый стол и возобновил свои занятия. Он жадно потянулся к книгам. Там, в священных книгах, никто не ел сардин, не льстил, не ругался, не говорил двусмысленностей, не отпускал скользких шуток. Там царили святость, истина, преданность.

В хасидском Доме учения, где молился отец, уже знали о сенсационной тяжбе. Дельцы обсуждали ее с папой, говорили, что он приобрел известность в Варшаве, стяжал себе имя, но отец отмахивался.

— Нет, это нехорошо...

Тогда отец стал говорить со мной о Ламед-Вов — тридцати шести неведомых праведниках, простых евреях: сапожниках, портных, водоносах, от которых зависит существование мира. Он рассказывал об их бедности, скромности, мнимом невежестве, так что никто не мог распознать их величия. Он говорил об этих скрытых святых с особой любовью.

— Для Бога одно сердце, исполненное сокрушения, стоит больше, чем тридцать шелковых раввинских сюртуков.

ТОРГАШ

В жизни случаются невероятные вещи, превосходящие любую фантазию. Однажды дверь нашей кухни отворилась, и вошел человек в раввинской широкополой черной шляпе, но в шерстяном сюртуке, доходившем ему лишь до колен, полосатых брюках и блестящих ботинках. Борода у него была слишком правильной формы, явно подстриженная. На молодом розовом лице по-юношески сверкали черные глаза, странно задумчивые. Говорил он на идише с немецким акцентом.

— Уважаемый наставник у себя? — осведомился он.

Ни мне, ни моей матери не приходилось слышать о папе «наставник». Мама указала ему на соседнюю комнату.

Папа радушно приветствовал гостя, предложил ему сесть. Впрочем, он встречал так всех, кто к нему приходил, богатых и бедных. На вопрос, зачем

пришел этот человек, прямого ответа не последовало. Создавалось впечатление, что он просто хотел побеседовать с папой, которого, как я сумел заметить, ученость посетителя скоро потрясла. Гость, по-видимому, знал Мишну наизусть. Он упомянул несколько серьезных книг, цитировал на память большие отрывки из них. Беседа становилась все более оживленной, интересной. Папа, сам ученый, автор многих комментариев, с трудом поспевал за гостем. Тот знал все, помнил даже, на какой странице расположен текст, сыпал цитатами из Маймонида, вытаскивал комментарии из рукава. Обратившись к какому-то стиху из Торы, он привел перевод его на арамейский, процитировал абзацы из Онкелоса и Ионатана бен Узиэла.

Папа, как правило, не хвалил никого в глаза, но тут не выдержал:

— Как это человек, не дай Бог сглазить вас, может столько помнить? Вы действительно подобны «сосуду, который не теряет ни капли».

— Позвольте показать вам некоторые рекомендации, — попросил гость.

Он выложил на стол пачку писем с печатями ряда известных раввинов. Знаменитости называли его гением, князем Торы, выворачивающим горы и обращающим их в пыль. По мнению одного

из них, экзаменовавшего этого человека, «его руки полны Талмуда Вавилонского, Талмуда Иерусалимского, Сифре, Тосефты, Мехилты...». Папа только потирал лоб рукой.

— Это большая честь принимать вас в своем доме! — воскликнул он и послал меня сказать маме, чтобы она принесла чаю для гостя, и поскорее рассказал ей, какой замечательный человек находится в нашем доме.

Мама, дочь раввина, ценила ученость превыше всего. Я стоял и слушал, стараясь не пропустить ни слова. Папа спросил, откуда гость явился, и оказалось, что вообще он из Венгрии, но повидал много стран. Даже учился вместе с сефардами в одной из турецких провинций. Побывал он в Палестине, дошел до Дамаска и Вавилона, изъездил почти весь мир, знал несколько языков: венгерский, русский, немецкий, арабский. У него был австрийский паспорт, он показал папе визы многих консульств. Я тогда впервые услышал слова «виза» и «консульство». Обычно папа придавал мало значения светским делам, но эти, относившиеся к столь ученой особе, он рассматривал как сочетание Торы с мирской славой. Возбужденный, он попросил меня подойти ближе и велел поздороваться за руку с этим необыкновенным человеком.

(Видимо, чтобы я удостоился чести коснуться его руки.) Гость, узнав от меня, чем я занимаюсь, что изучаю, не только процитировал отрывок из Талмуда, который я тогда учил, но и прибавил комментарии к этому Раши и других мудрецов.

Тем временем мама подала чай, печенье, фрукты. У меня голова кружилась от учености гостя в современной одежде. Я с восторгом узнал, что ему известно имя дедушки.

В какой-то момент он что-то шепнул отцу, и тот повернулся ко мне:

— А теперь выйди!

Мама уходила, и, несколько задержавшись, я медленно последовал за ней на кухню. Мне ужасно хотелось слушать ученые речи с немецким акцентом, но таковы взрослые: как только разговор становится по-настоящему интересным и каждое слово притягивает, как магнит, они принимают решение «отослать мальчика». Я попытался оставить дверь приоткрытой, но гость сам подошел к ней и плотно ее закрыл. Вероятно, он хотел сообщить папе очень важную тайну.

Мама принялась меня наставлять:

— Чтобы стать таким ученым, — говорила она, — надо учиться, а ты читаешь глупые книжки о вещах, которых никогда не было и не будет.

Потом она рассказала, о чем прочла в газете. Жена одного профессора постоянно запаздывала с обедом, и ее мужу приходилось всегда его ждать. Он решил, что это время можно как-то использовать, например, для написания книги. Несколько лет спустя ему удалось опубликовать ее — целиком, написанную в ожидании обеда. И если ученый может проявить столько рвения в светских делах, за которые Бог не вознаграждает, то насколько более важными могут оказаться подобные усилия для изучения Торы, позволяющего одновременно заслужить награду в будущем мире.

Мамины слова произвели на меня сильное впечатление. Но меня мучило любопытство: что пришелец из дальних стран сообщает папе под таким секретом? Из-за плотно закрытой двери я слышал шепот, бормотание, вздохи, наконец, приглушенные рыдания. Голос принадлежал папе, и казалось, что он еле сдерживает себя, чтобы не взорваться. Но с чего бы папе быть недовольным таким блистательным ученым посетителем? Что там происходит? Мама тоже, очевидно, заинтересовалась, поскольку голоса в кабинете звучали все громче. Уже не было сомнения в том, что там происходит спор, даже ссора. Неужели они так

горячатся из-за строк Талмуда или толкования Закона? Мама подошла к двери и попыталась послушать. Потом спросила почти сердито:

— Почему твой отец так кричит?

Вдруг дверь распахнулась, и появился папа. Я никогда не видел его таким — растрепанным, красным и взволнованным, с каплями пота на лбу и смятением, негодованием, страхом в глазах. Его рыжая борода тряслась, пейсы, почти черные, шевелились.

— Дай мне денег, скорее! — кричал он, обращаясь к маме.

— Сколько?

— Сколько есть!

Мама робко возразила:

— Но я не могу отдать последнее, что у нас есть!

— Прошу тебя, не заставляй меня ждать! Я не хочу, чтобы этот мерзавец оставался в моем доме хотя бы еще минуту! Я хочу скорее забыть о нем!

— Почему мерзавец?

— Дай мне денег, не то я уйду из дома! Его присутствие оскверняет...

У меня в глазах появились слезы. Мама, бледная, дрожащими руками шарила в ящике кухонного стола. Дверь была открыта, и я мог видеть

«великого ученого». Он стоял посреди папиного кабинета и, пощипывая бороду, разглядывал керосиновую лампу. Папа вернулся к нему, чтобы продолжить спор. Потом дверь кабинета снова открылась, оттуда вышел посетитель. Он взглянул на маму и сказал на своем германизированном идише:

— До свидания.

Через минуту после его ухода папа ворвался на кухню с криком:

— Какое горе! Неслыханное горе! Этот человек — еретик, отвратительный отступник, наглый язычник, самонадеянный грешник! При такой учености — самый низкий из негодяев!

— Почему ты так кричишь? Чего он от тебя хотел? — не могла понять мама.

— Он предлагал продать мне вечную жизнь... — папин голос звучал неузнаваемо.

— Что?

— Нет, ты не ослышалась. Он предложил мне свою долю на том свете за сто рублей.

— Он сумасшедший?

— Нет, не сумасшедший. Просто совершенно неверующий! Элиша бен Авуя!⁷

⁷ Законоучитель Талмуда, ставший еретиком.

И папа, с трудом выговаривая слова, рассказал, какую сделку предлагал ему этот человек. По его заявлению, глубоко изучив Тору и другие священные книги, он приобрел огромную порцию вечной жизни, часть которой пришел продать. Папа объяснил ему, что у неверующего нет прав на вечную жизнь. Но посетитель процитировал Талмуд, доказывая, что благодаря учености вечная жизнь ему обеспечена и он может ею распорядиться по своему усмотрению. Сам он в загробную жизнь не верит и, поскольку ему нужны деньги, готов продать свое право на нее.

Мама с удивлением посмотрела на папу:

— И поэтому ты отдал ему наши последние несколько рублей?

— Мне надо было избавиться от него. Он грозился, что без денег не уйдет.

— Но как я теперь приготовлюсь к Субботе?

Папа не знал, что ответить. Он побежал к умывальнику, чтобы вымыть руки, очиститься от этого «мерзавца», и остался там стоять, свесив голову, смущенный, как будто его побили. Столько учености — и столько ереси! Такой знаток Священного Писания — и такой отступник! Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку, а этот него-

дядя отказывался от вечной жизни взамен на несколько рублей.

— Конец света! Конец света! — шептал папа. — Сколько еще дней оставаться ему на земле? Он уже немолод...

Взглянув на меня, он добавил:

— Пусть это послужит тебе уроком!

Затем мы узнали, что этот ужасный человек посетил всех варшавских раввинов, ученых и влиятельных людей. Предлагая ту же грешную сделку каждому из них, он везде получал по меньшей мере несколько рублей. Этот попрошайка был психологом: вначале он добивался уважения своих жертв, затем внушал им отвращение к себе, вызывал у них гнев и страх, а в заключение требовал от них денег за то, чтобы он оставил их в покое. Говорили, что находились богатые дураки, которые давали ему до ста рублей. Таков был его промысел, с этим товаром он пробивал себе дорогу в мире.

ЗАВЕЩАНИЕ

К папе пришел человек с такой длинной бородой, какой я никогда больше не видел за всю свою жизнь. Огромная, густая, черная, как смоль, она сверкала так, что казалась пышной листвой дерева, доходила до колен, а потом разветвлялась на маленькие бороденки. На ее обладателе, высоком, плотном мужчине, были дорогие на вид пальто и шляпа, сапоги из козлиной кожи. Чтобы не натереть переносицу, очки в золотой оправе были подбиты ватой. Его окутывала аура самодовольства и хасидского благодушия.

Папа приветствовал незнакомца, предложил ему сесть, после чего спросил:

— Что скажете нам хорошего?

— Я хочу составить завещание, — заявил гость.

Я (который, разумеется, был тут же) испугался. Отец сначала не шевельнулся, а затем стал

заикаться. К нему редко приходили с таким делом, и были это очень старые люди.

— Но вы похожи на человека в расцвете лет, — возразил он посетителю.

— Прежде всего, я не юноша. Кроме того, никто не знает, что с ним произойдет завтра, — внес ясность бородатый гость и процитировал стихи из Торы и Талмуда, доказывающие, что каждый должен быть всегда готов к смерти.

Произнося это, он зажег сигару, затем вынул коробочку и предложил папе понюшку табаку. Коробочка была необычная, из слоновой кости, украшенная резьбой, и напоминала сувенир, привезенный с курорта. Незнакомец снял пальто и остался в новехоньком сюртуке. Он вынул часы с золотой цепочкой, и я увидел, что у них три крышки, а на циферблате вместо цифр — еврейские буквы. Было ясно, что это человек богатый, что он хасидского происхождения, соблюдающий традиции.

— Какая у вас профессия? — спросил его папа прямо, без церемоний.

— У меня книжный магазин на Свентокшиской.

— Книги?

— Конечно, никакого еврейского просвещения, упаси Бог. Книги для неевреев, польские, немецкие, русские, французские, на всех языках. Книг атеистов на идише, как и на иврите, в моем магазине нет.

— И вы знаете все эти языки?

— Мне часто приходится беседовать со знаменитыми людьми, профессорами. Если нужна польская или латинская книга, они обращаются ко мне, и я указываю им, где искать. Меня знают во всей Польше. Мне пишут профессора из Кракова. У меня репутация во всем мире. Я то, что называется библиограф.

— Ну, раз это не для евреев... — произнес папа.

Через некоторое время бородатый стал диктовать папе наводившее ужас завещание. В нем предписывалось, какие молитвы читать, когда он испустит дух, как переносить тело покойного, какие псалмы петь тем, кто будет сидеть у него перед похоронами, как совершить погребение. Он хорошо изучил завещания известных раввинов и, если отец говорил, что какой-то пункт не соответствует Закону, ссылаясь на одно из этих завещаний. Посетитель знал обычаи не хуже папы. Когда мелким папиным почерком был покрыт большой лист, он медленно и с явным удовольст-

вием прочел все и приписал: «Таковы слова опочившего». Свою подпись он снабдил красивыми завитушками.

Уплатив три рубля за работу, посетитель сделал признание папе. Хотя выглядит он неплохо, легкие у него не в порядке, и врачи говорят, что жить ему осталось недолго. Странно, что он установил в завещании только религиозные церемонии: как молиться, как раздавать милостыню, какие тексты цитировать, как отмечать его йорцайт. О мирском — ни слова. Видимо, оно нашло отражение в завещании, составленном нотариусом.

Когда с делом было покончено, гость послал меня купить ему половину пирога и пинту кипяченого молока. Вымыв руки, он произнес благословение над едой, а поев — благодарственную молитву. Потом снова закурил сигару, выпуская кольца дыма, и посмотрел на меня.

— Учишься?

— Да.

— Что ты учишь?

— Бава Кама.

Он стал задавать мне вопросы по этому трактату Талмуда и в знак одобрения ущипнул меня за щеку. Пальцы его были мягкие и теплые, но я

испытал чувство, будто ко мне прикоснулся мертвец. Он дал мне монетку и предостерег:

— Смотри, не попади в беду.

Три рубля были весьма уместной добавкой к скудному бюджету нашей семьи, но после ухода посетителя в доме наступило неловкое молчание. Этот человек так точно устанавливал, как шить ему саван, как омыть тело... Он уже купил участок на кладбище, заказал надгробие. Уточнил до последней детали, как нести гроб, как уложить его руки, ноги, голову. Все это переходило границы разумного. Мне казалось, что он болезненно наслаждается мрачными подробностями. В то же время пирог, который я ему принес, он ел с завидным аппетитом, извлекал из бороды крошки и проглатывал их. Отправляя меня за покупками, он наказал мне удостовериться, есть ли на молоке пенка.

Несколько позднее мне случилось побывать на Свентокшиской. Возможно, я и пошел туда, чтобы увидеть странного посетителя отца. Я стоял у витрины и смотрел, что происходит в магазине. Студенты и школьники, юноши и девушки толпились у полок с книгами, что-то искали, прочитывали... Хозяин спорил с кем-то, а лицо его излучало радость богатого человека, занимаю-

щегося важным делом. За прилавком стояла полная дама в парике, как полагается замужней еврейской женщине, рядом с ней — молодая девушка, вероятно, дочь. На прилавке можно было видеть не только старые книги, но и антикварные вещи: фарфоровую фигурку с голым животом, алебастровый бюст, всевозможные подсвечники (не еврейские!), прочие безделушки из меди и бронзы. Все в лавке казалось языческим, хотя ее владельцем был еврей, погруженный в Тору.

Прошло довольно много времени, и обладатель необычайно длинной бороды снова пришел к папе. В его длинной черной бороде блестело несколько седых волос, но он оставался так же упитан и свеж, как в первый раз. Стояла зима и он был в богатой шубе, галошах с мягкой подкладкой. На этот раз его привело в наш дом желание изменить завещание.

— Как ваше здоровье? — справился у него папа.

— Что толку спрашивать о здоровье? — ответил он. — Я, не дай вам Бог, очень больной человек.

— Всемогущий исцелит вас.

— Конечно. Он, да будет благословенно имя Его, может творить чудеса. Но если природа

пойдет своим путем, я долго не протяну. Сколько может жить человек без легких?

Отец побледнел и напомнил ему о чуде, произошедшем в доме рабби Ханины бен Досы, жена которого однажды в пятницу налила в лампу вместо керосина уксус.

— Тот, по Чьей воле горит керосин, может приказать это и уксусу, заметил рабби Ханина, и лампа действительно загорелась. Такое может произойти и с человеком. Если Создатель захочет, человек будет жить, даже если у него больные легкие, — обнадежил папа гостя.

Но тот воспринял эти слова с мрачным видом. Он некоторое время кашлял, а потом процитировал Талмуд: «Не каждый день свершаются чудеса».

— Сказано: «Даже обычный ход природы есть чудо», — не сдавался папа.

— Конечно, конечно, — согласился гость. — И все же без легких дышать нельзя, а если ты не дышишь... В конце концов, тело есть лишь тело...

Завещание претерпело значительные изменения. Бородач, по-видимому, изучил много чужих завещаний и внес в свое массу новых указаний. Так, он требовал, чтобы черепки на глаза ему положили по-особому. Веточка мирта в руках усоп-

шего должна быть другой. Тело следует очищать яичным белком и серебряной ложкой. Он купил такую в отдаленном городке, ею пользовалось в старину похоронное общество.

Я видел, что папе не по душе чрезмерный интерес его посетителя к этому грустному предмету. Его поднятые брови как бы говорили: «Это чересчур, чересчур». Но кандидат на тот свет никуда не торопился. Он разработал целый лист инструкций со множеством деталей, то и дело просил что-то стереть и вписать другое, курил, нюхал табак, чихал, и снова я бегал покупать для него пироги и молоко.

С тех пор он приходил каждый год, а то и два раза в год. Борода его седела медленно, лицо сохраняло румянец, черные глаза навывкате сияли радостью жизни и довольством преуспевающего человека. Он продолжал изменять завещание, добавляя в него новые параграфы. Даже папа, не обладавший большим чувством юмора, подсмеивался над ним, столь упорно утверждающим, что стоит одной ногой в могиле. За эти годы много вполне здоровых людей успело перейти в мир иной. А книготорговец со Свентокшиской все подправлял свое завещание. Папа с трудом подавлял улыбку, когда тот появлялся в дверях. Я,

который когда-то боялся как его самого, так и его мрачных разговоров, стал привыкать к нему. Кажется, он играл со смертью, подобно ребенку, играющему в свои игры. Три рубля, вносимые им за перемены в завещании, сделались постоянной частью нашего дохода.

В конце концов его борода все-таки поседела. Если раньше она сверкала своей чернотой, то теперь точно так же — белизной. Чтобы завершить повествование, пропущу несколько лет. Началась война, немцы вступили в Варшаву. Но и в дни битв, голода и восстаний книготорговец не забывал о своем завещании. Теперь он расплачивался за вносимые в него изменения не рублями, а марками. Сам документ превратился в толстый трактат, многочисленные страницы которого приходилось сшивать суровой ниткой.

В 1917 году мы с матерью уехали из Варшавы. Незадолго до этого я прошелся по Свентокшиской. Владелец книжного магазина стоял за прилавком, занятый делом, студенты так же рылись в книгах на полках. На сей раз в магазине присутствовали и немецкие офицеры.

Я полагаю, что когда-то человек этот все-таки умер. К тому времени он, вероятно, был уже очень стар. Вряд ли его завещание мог кто-то

ЗАВЕЩАНИЕ

выполнить. Потребовалось бы много дней и целый полк членов погребального общества, способных выучить и запомнить все его инструкции. Скорее всего, завещания никто и не читал, не отнесся к нему серьезно. Но пока он жил, этот документ доставлял ему огромное удовольствие.

Я СТАЛ СБОРЩИКОМ

Раввинов, подобных моему отцу, содержали прихожане. Они объясняли людям, как жить по законам религии, и те, понимая что самому раввину жить не на что, каждую неделю сдавали сборщику деньги. Сборщик исправно вручал их раввину, оставляя себе примерно двадцать процентов от собранной суммы. Первый наш сборщик был честным человеком. К сожалению, женившись, он стал шойхетом и перестал собирать деньги для отца. Каждый последующий сборщик воровал больше своего предшественника, и к тому времени, когда мне исполнилось девять лет, у нас был сборщик, который забирал себе большую часть денег.

С каждой неделей он давал отцу все меньше и меньше, жалуясь, что не может заставить людей платить. Объяснял он это кризисом в стране и нехваткой денег у людей. Подозревать еврея в воровстве отцу не позволяло его достоинство.

В конце концов в доме не осталось ни куска хлеба, лавочники отказали нам в кредите. Из-за того, что мы не могли платить за квартиру, хозяин угрожал отцу судом, продажей мебели с аукциона. Читая молитву «И не лишай нас даров!», отец смотрел на небо и вздыхал больше обычного. Возможно ли изучать Тору и быть евреем, если нечего есть в Субботу!

Однажды, когда отец делился своими бедами со мной, я предложил ему стать его сборщиком.

Он онемел, посмотрел на меня и сказал:

— Но ты мальчик, тебе нужно учиться.

— Я буду учиться.

— А что скажет мама?

— А зачем говорить ей?

Помолчав, он согласился:

— Ладно, давай попробуем.

Я разнес билетки сбора по адресам, и, вопреки утверждениям моего предшественника-жулика, дары оказались весьма щедрыми. Поскольку мы уволили сборщика месяц назад, у многих накопились долги. И часа не прошло, как мои карманы наполнились серебром и медью. Через два часа, обнаружив, что в обоих нижних карманах уже нет места, я стал набивать другие карманы моей одежды.

Я уже почти не испытывал стыда. Все были так приветливы, мужчины щипали меня за щеку, женщины благословляли и угощали пирожками, фруктами, конфетами. Все говорили, что мой отец святой человек. Я взбирался по лестницам, стучался в двери. Раньше я думал, что знаю Крохмальную, теперь она словно повернулась ко мне другой стороной. Здесь жили портные, кожевники, мебельщики, скорняки.

В одной квартире девушки нанизывали бусы, и груди их сверкали на столах, стульях и кроватях. Казалось, я попал в зачарованный дворец. Открыв другую дверь, я вскрикнул: на полу лежали мертвые зверьки. Жилец этой квартиры скупал у охотников зайцев и сбывал их в ресторан. В третьей квартире девушки натягивали нитки на прялку, пели еврейские песни, а в волосах у них запутались обрывки нитей.

В одном месте играли в карты. Где-то старик строгал доску, стружки и щепки летели во все стороны, а старушка в чепце молилась по книге. У переплетчика я испугался, увидев, что работники ходят прямо по священным книгам.

Еще в одной квартире я увидел женщину-урода с необычайно широким телом. Голова у нее была почти с булавочную головку, а глаза большие, те-

лячи. Она мычала, как немая, издавала страшные звуки. К моему удивлению, оказалось, что у нее есть муж.

Я видел и бледного паралитика, лежащего на чем-то вроде полки. Женщина кормила этого человека, и пища капала на его жидкую бородавку. Он был еще и косоглаз. По невероятно грязной лестнице я влез на чердак, буквально переступая через босоногих детей, играющих в грязи. У одного очень бледного ребенка голова была обрита наголо, уши распухли, длинные пейсы — растрепаны. Девочка плюнула на него, и он скверно выругался.

Вытащив билетик, я спросил:

— Где живет Ента Фледербойм?

— В щёнке.

В Варшаве так называли темный коридор. Вообще робкий, я в тот день будто преобразился, исполнился отваги. Пробираясь вдоль длинного коридора, натываясь на корзины и ящики, я услышал шорох, похожий на мышинный. Чиркнул спичкой и обнаружил, что здесь нет на дверях ни номеров, ни даже запоров. Распахнул первую дверь и был потрясен увиденным. На полу лежал труп, завернутый в простыню, сидевшая на табуретке женщина плакала, ломала руки и кричала. Зеркало напротив было завешено. Задрожав от страха, я

захлопнул дверь и попятился в коридор. В глазах сверкали искры, в ушах звенело. Убегая, я запутался в какой-то корзине. Как будто кто-то схватил меня за полу и потащил назад, в меня впились костлявые пальцы, я услышал ужасный стон. Обливаясь холодным потом, я бежал, разрывая свой сюртук. Хватит с меня сборов! Я выскочил из дома и пошел по улице. Монеты обременяли меня. Казалось, я состарился за один день.

Я не ел с утра, но есть не хотелось. Мне чудилось, что живот у меня раздулся. Я вошел в Радзиминскую молельню. Голова гудела. Я смотрел на свечи, на книги и чувствовал, что они мне чужие, словно я забыл свою учебу.

Внезапно я понял, что поступил неправильно, мне стало стыдно. Решения, принятого тогда, я придерживаюсь до сих пор: никогда не делать ничего ради денег, если тебе противно совершаемое для этого дело, избегать одолжений и подарков. Хотелось как можно скорее освободиться от этой отвратительной должности.

Мамы дома не было, а папа посмотрел на меня с тревогой.

— Где ты был весь день? — спросил он. — Мне досадно за все это. Тебе надо продолжать учиться...

Собранных мной денег было больше, чем сборщик отдавал нам за месяц. Отец не стал их считать, ссыпал в ящик. Я признался ему, что не хочу больше этим заниматься.

— Боже сохрани! — воскликнул отец.

Новый сборщик тоже воровал. Кончилось тем, что папа отказался от сбора денег. Мы пытались жить на плату за тяжбы, свадьбы, разводы, папа брал учеников, которые вскоре уходили от него. Нам становилось все труднее. Мама отправилась за помощью к своему отцу в Билгорай и пробыла там целый месяц.

Дома царил хаос. Мы ели всухомятку, за мной никто не смотрел. Сестра Хинда-Эстер вышла замуж за сына варшавского хасида и жила в Антверпене, в Бельгии. Я внезапно почувствовал страшную тягу к науке. Начал почему-то «читать» Талмуд самостоятельно и даже понимать комментарии. Изучил «Сильную Руку» Маймонида и другие книги, ранее мне непонятные. Однажды я нашел среди отцовских книг том кабалы, «Столп Служения» рабби Боруха Косовера. Кое-что понял, конечно, немного. Часть моего мозга, доселе запечатанная, открывалась. И теперь я испытывал глубокую радость учения...

ШЕЛКОВАЯ КАПОТА

Нашу бедность выдавала прежде всего одежда. Еда была относительно дешевой, да и мы не были обжорами. Мама варила картофельный суп, заправляя его ржаной мукой и жареным луком. Яйца ели только в праздник Пейсах. Фунт мяса стоил двадцать копеек, но зато получалось много бульона. А мука, гречневая крупа, горох, бобы были дешевыми продуктами.

Но вот одежда была дорогая.

Мама носила одно платье несколько лет и так заботилась о нем, что оно всегда казалось новым. Пары туфель ей хватало на три года. Папина шелковая капота немного обтрепалась, но такими были капоты и ермолки у большинства молящихся в Радзиминской молельне. С нами, детьми, дело обстояло хуже. Я снашивал обувь за три месяца. Мама жаловалась, что другие дети более осторожны, а я влезаю во что угодно.

Для посещения Радзиминской молельни мальчики надевали в Субботу шелковые капоты, бархатные шапочки, лакированные туфли и шарфы. Моя капота была уже слишком мала для меня. Время от времени мне доставалась какая-то новая вещь, но не раньше, чем старая превращалась в тряпку.

Однажды, как раз перед праздником Пейсах, нам внезапно повезло. Это время всегда было благоприятным для отца: он получал комиссионные за продажу нееврею (чтобы сказать точнее — нашему сторожу) хомеца, то есть того, что не разрешается иметь в еврейском доме в праздник. Было в этой «продаже» нечто фальшивое, поскольку по окончании праздника все добро возвращалось его прежним владельцам.

Наблюдая за продажей хомеца, я все больше убеждался в нашей бедности. Если другие евреи продавали водку, ликеры, консервы, то мы должны были избавиться лишь от нескольких горшков и сковородок. Иногда кто-нибудь записывал конюшню с лошадьми, хотя я не представлял себе, как можно лошадь считать хомецом. Правда, лошади едят овес. У одного человека сын ездил с цирком, и он считал необходимым продать все цирковое хозяйство.

Пейсах в тот год был для нас счастливым. Начать с того, что мы получили много подарков на Пурим, за месяц до этого. Но самое главное, портной из Леонсина, где когда-то мой отец был раввином, Йоносон переехал в Варшаву. Высокий, стройный, с лицом, подпорченным оспой, редкой бородкой и блестящими глазами, он сам одевался не как портной, а как хасид. В Субботу на нем всегда была шелковая капота, он нюхал табак, по праздникам посещал Радзиминского ребе. Это был, в сущности, образованный человек. Приехав в Варшаву, он приходил к моему отцу штудировать Талмуд. Увидев, в каком состоянии находится мой гардероб, Йоносон предложил одеть меня в кредит.

Вот удача! Снимая с меня мерку, портной сиял от гордости, обращался со мной, словно я был членом его семьи. Надо сказать, что он присутствовал при моем обрезании.

Отмечая мелом необходимые ему данные, он повернулся к моей матери:

— О ребецн, как летят годы!

Видимо, в то время у Йоносона не было другой работы. Очень скоро он пригласил меня к себе домой, чтобы примерить одежду и одновременно оценить мой иврит. Его радовала возможность и

самому произнести несколько фраз на святом языке, обсудить их по-ученому со мной. Будучи всего лишь портным, он очень любил еврейство и смаковал каждое слово на иврите. К моменту своей свадьбы его познания ограничивались только обязательными молитвами, и уже женатым человеком он изучал Писание на идише, осваивал Мишну с учителем не без помощи других учащихся. В Леонсине над увлечением Йоносона посмеивались, тем не менее он сумел доказать, что учиться никогда не поздно. Отец был в числе тех, кто помогал Йоносону, и портной был рад его отблагодарить.

Дом портного оживляли шум детей и запахи кухни. Его три дочери знали меня с детства, и теперь, когда мне, как взрослому, примеряли шелковую капоту, они не могли удержаться от комментариев, в частности относительно длины капоты.

Моя мама сделала широкий жест, заказав еще сапожнику новые башмаки для меня. Появившись в праздник в молельне, я должен был убить всех наповал! Одежда обычно не очень меня волновала, теперь же каждое добавление к моему туалету стало возбуждать мой интерес. Портниха сшила мне новые рубашки, в ящике шкафа появилась новая бархатная ермолка. Я представлял себе, как

войду в пасхальный вечер в молельню, поражая всех мальчиков. Раньше из-за плохой одежды я чувствовал себя ниже их, хотя был весьма начитан, знал о сионизме и социализме, сколько весит воздух и как образовался уголь. Все это я почерпнул от брата Ешуа или вычитал в альманахе. На этот раз они увидят, что и у меня есть новая, праздничная одежда. Портные большей частью подводят, но Йоносон был не таков.

И все же я ждал катастрофы, ибо разве дела могут идти так гладко, как мечтается? С другой стороны, что может произойти? С чего это я так тревожусь? Конечно, капоту можно сжечь при глаженье, ее могут, наконец, украсть. Из «Наказующего Бича», а также из собственного опыта я знал, что в мире существует множество ловушек.

Но пока все шло гладко. Сапожник не подвел, вручил башмаки, которые сверкали, как лакированные. Шелковая капота уже висела в шкафу.

Люди приходили к папе продавать хомец, и я, стоя у папиного стула, наблюдал за этой не очень сложной церемонией. Продавец должен был коснуться кончика платка, что свидетельствовало о его согласии продать свое добро нееврею. После этого папа приступал к перечислению продаваемого. За словами «хомец такого-то» следовали на-

звания вещей на смеси идиша с ивритом. Я был уверен, что доведись мне, я и сам бы выполнил эту работу. Люди подписывали бумагу, переговариваясь между собой о наступающем празднике и т. д.

Папа спрашивает глухого, есть ли у него спиртное.

— Да, немного муки.

Окружающие кричат ему в ухо:

— Спиртное! Водка!

— О!.. Что же вы мне раньше не сказали? Конечно, у меня есть спиртное.

Вдова, пришедшая продавать хомец, не умеет подписаться. Папа велит ей коснуться кончика пера, но она не понимает, чего от нее хотят.

— Только кончика пера, на секунду, — повторяет папа.

Она не понимает, что такое «кончик пера».

Приходит мама и объясняет, что надо сделать. У женщины отлегло от сердца.

— Ребецн, вас я понимаю легко, — говорит она, касается пера, развязывает платок и отсчитывает несколько медных монет.

— Хорошего вам праздника! — желает она папе.

— Дай вам Бог дожить до будущего праздника, — в свою очередь желает ей папа.

Внезапно на ее обветренное, загорелое лицо брызгают слезы из глаз, и все замолкают. Когда она уходит, папа говорит:

— Кто знает, кого Господь любит больше всех? Она, может быть, святая...

Позднее мама, покрасневшая от плиты, пришла в кабинет, чтобы удалить все следы хомеца. В спальне с потолка свисали листы мацы. Две порции — «из первого замеса», предназначенные для самых набожных людей, выпекались особенно тщательно. В нашем доме такими были отец и мать! Обычно эта привилегия распространяется только на мужчин, но мама была дочерью раввина.

Согласно обычаю вечером накануне праздника папа обследовал дом в поисках хомеца, который полагалось сжечь. Хомец разрешалось есть до девяти утра, а потом до захода солнца — ни хомеца, ни мацы.

После захода солнца начинался праздник Пейсах. Так что пока все шло благополучно. Я умылся, надел новую рубашку, новые штаны и башмаки, новую бархатную шапочку и шелковую капоту, которая празднично сверкала. Я походил на мальчика из богатой семьи, когда спускался с отцом по ступеням. Соседи открыли двери, чтобы посмотреть на меня, и сплевывали, чтобы защитить от

дурного глаза. Девушки, которые сидели на пороге, занятые подготовкой традиционных растений для сейдера, улыбались мне, одновременно проливая слезы от хрена. Девочки, мои ровесницы, еще недавно игравшие со мной, восхищенно смотрели на меня. Теперь, когда мы выросли, они стеснялись заговаривать со мной, но в их взглядах таилось воспоминание.

Мы с отцом направились в Радзиминскую молельню. Дойдя до нее, мы поднялись по лестнице и толкнули дверь. Она была заперта. Надпись на ней гласила: «Закрыто до конца праздника из-за неполадок с газом».

— Закрыто в пасхальный вечер? Невероятно! — расстроился отец.

Мы стояли, сбитые с толку, не зная, что делать. «Наказующий Бич» оказался прав. Нельзя рассчитывать на блага материального мира — там одни только разочарования. Лишь служба Богу, изучение Торы имеют значение. Все прочее рушится.

Мы пошли в Минскую молельню, но там никто не знал меня и, естественно, не обратил внимания на мою новую одежду. Несколько знакомых мальчиков и я, как подобает чужакам, сгрудились у дверей.

Это был тяжелый удар и урок не поддаваться глупой мирской суете.

ВЫСТРЕЛ В САРАЕВО

В нашей семье давно уже обсуждался вопрос, не переехать ли нам из квартиры на Крохмальной, 10 в другое место. Здесь приходилось пользоваться керосиновыми лампами, а туалет, общий для всего дома, в котором всегда было темно и грязно, находился во дворе. Этот туалет являлся кошмаром моего детства, из-за него многие дети дома страдали расстройствами пищеварения и нервной системы. Другим кошмаром была лестница, куда кое-кто из жильцов выбрасывал мусор. Сторожу полагалось зажигать на ней лампы, но делал он это редко, а тушил неизменно в половине одиннадцатого. Крошечные запыленные лампы светили так слабо, что тьма казалась еще гуще. Когда я шел по этой мрачной лестнице, все черти, злые духи и демоны, о которых говорили мне взрослые, чтобы доказать существование Бога и загробной жизни, преследовали меня. Рядом бежали кошки.

Часто на лестницу доносился плач по умершему из какой-нибудь квартиры, у ворот могла ждать похоронная процессия. Я достигал своей двери, уже задыхаясь, в холодном поту. Ночью мне снились кошмары.

Было ясно, что нам трудно платить 24 рубля в месяц за квартиру, в которой мы жили. Как же переехать на Крохмальную, 12 в новый дом с газом и туалетом, где придется платить 27 рублей? Но мы надеялись, что перемена принесет нам счастье...

Наступила весна 1914 года.

Газеты давно твердили о взрывоопасном положении на Балканах, о соперничестве между Англией и Германией. Но газет у нас не было. Раньше их приносил мой брат Ешуа, но он поссорился с отцом и куда-то уехал.

Все советовали нам перебраться в дом 12. Его владелец, Лейзер Пшепюрко, был религиозным миллионером. Он славился своей скупостью, но никогда не выселял евреев. Смотритель дома, старый коцкий хасид реб Ишая Жандце, дружил с отцом. Поскольку ворота дома 12 выходили на Миrowsкую, к рынкам, была надежда, что отец станет раввином и Крохмальной, и Миrowsкой улиц. В то время проходило много разбирательств с

участием раввина, свадеб и разводов, что принесло дополнительный доход. И мы решили переехать.

Новая квартира, на первом этаже, свежевыкрашенная, располагалась напротив булочной, а кухонное окно упиралось в стену. Над нами возвышалось еще пять или шесть этажей.

Новый дом напоминал город. Три огромных двора. Темный вход пропах свежим хлебом, тмином и дымом. В доме размещались две хасидские молельни, Радзиминская и Минская, а также нехасидская синагога. Во дворе, в сарае, весь год прикованными к стене держали коров. В одних подвалах торговцы хранили фрукты, в других — яйца, уложенные в известь. Приезжали телеги из провинции. Это был дом Торы и молитвы, торговли и ремесла. Жильцы его давно забыли о керосиновых лампах, некоторые даже пользовались телефоном.

Но переехать оказалось нелегко, хотя дома стояли рядом. Пришлось погрузить вещи на телегу, кое-что из мебели поломалось. Чего стоило перетаскать шкаф весом в тонну — крепость со львиными мордами на дубовых дверях и карнизами, покрытыми резьбой. Как его доставили из Билгорая — понять невозможно.

Никогда не забуду, как мы впервые зажгли газовую лампу. Странное сияние, наполнившее квартиру и будто проникшее в мой мозг, ослепило и напугало меня. Теперь чертям трудно было бы спрятаться.

Туалет привел меня в такой же восторг, как и газовая плита на кухне. Отныне не нужно было готовить для чая растопку или приносить уголь. Стоило только чиркнуть спичкой и смотреть, как вспыхнет синий огонек. И не нужно было таскать из лавки банки с керосином: бросил двугривенный в щель — и получаешь газ. Я знал в доме многих по Радзиминской молельне, где я обычно молился.

Поначалу казалось, что ожидаемое нами счастье сбывается. Дело по разбирательству тяжб у отца было достаточно много. Все шло настолько хорошо, что он решил снова отдать меня в хедер. На Твардой, 22 был специальный хедер, где обучались такие подростки, как я, которые могли уже сами прочитать страницу Талмуда с комментариями. Кое-кто из моих друзей посещал этот хедер.

К тому времени я уже читал светские книги, меня увлекала ересь, и было довольно нелепо посещать хедер. Мы с друзьями потешались над учителем. Рыжебородый, с выпученными глазами, он

говорил с местечковым акцентом, ел сырой лук и курил длинную трубку с вонючим табаком. Поскольку он был разведенный, к нему часто приходили сваты, которые шептали ему что-то на ухо...

Внезапно возникли слухи о войне. Говорили, что в Сараево застрелили австрийского наследника престола. Вышли экстренные выпуски газет, на одном листе, с огромными заголовками. Мы, мальчишки, обсуждавшие политическую ситуацию, предпочитали, чтобы победила Германия. Что мы получим от России? В случае немецкой оккупации все евреи расстанутся с капотами, обязательными станут гимназии. Что может быть лучше, чем ходить в светскую школу в мундире и форменной фуражке? Однако мы были уверены (куда больше, чем германский генеральный штаб!), что Германии не устоять против объединенных сил России, Англии и Франции. Один из мальчиков высказал предположение, что англоязычная Америка выступит на стороне Англии...

Отец стал интересоваться тем, что писали газеты. В доме стали звучать такие слова, как «мобилизация», «ультиматум», «нейтралитет». Монархи посылали друг другу письма, называя себя Ники и Вилли, правительства обменивались нотами. Простые люди, рабочие, носильщики, соби-

рались на Крохмальной группами, обсуждая положение в мире.

Неожиданно оказалось, что 9 ава выпадает на воскресенье. В этот день началась первая мировая война.

Женщины бросились запасаться продуктами. Маленькие, хрупкие, они тащили огромные сумки с мукой, крупами — всем, что могли достать.

Лавки были открыты не целый день. Их владельцы вначале отказывались принимать потертые купюры, потом стали требовать золото, серебро и придерживать товар, ожидая роста цен.

Люди были возбуждены. Женщины с плачем провожали мужей, бородатых евреев с крохотными белыми булавками на лацканах, означавшими, что они призваны на военную службу. Мужчины с улыбкой и тревогой смотрели, как за ними маршируют дети с палками на плече, выкрикивая команды.

Пришедший из Радзиминской синагоги отец сообщил, что слышал, будто война продлится не больше двух недель.

— У них есть такая пушка, что одним выстрелом может убить тысячу казаков!

— Какое горе! — воскликнула мама. — Куда идет мир?

Отец поспешил ее утешить:

— Теперь не надо будет платить за квартиру. Правительством объявлено мораторий.

Мама продолжала:

— А кто захочет обращаться к раввину с тяжбами? На что мы будем жить?

Нам приходилось действительно трудно. Письма от сестры, которая вышла замуж и жила в Антверпене, перестали приходить. Мой двадцатилетний брат Ешуа, обязанный явиться в Томашов, родной город отца, чтобы вступить в армию, предпочел скрываться. Надо было запастись продуктами для него, как это делали наши соседи, но у нас не было денег. Понимая, какой наступит голод, я почувствовал невероятный аппетит. Ел и никак не мог наестся. Мама, приходя домой, жаловалась, что продуктов не хватает.

Я впервые услышал на улице нелестные слова о евреях. Еврейские торговцы, как и польские, прятали товар, повышали цены, пытались нажиться на войне. Торговец бумагой Мойше, живший в нашем доме, похвалялся в синагоге, что его жена закупила продуктов на пятьсот рублей.

— Слава Богу, — сказал он, — у меня еды хватит на год. Вряд ли война будет длиться больше.

Улыбаясь, он поглаживал свою серебряную бороду.

Все изменилось. Молодые люди с синими билетами могли изучать Талмуд, тогда как владельцы зеленых, бледные и озабоченные, делали попытки похудеть в надежде на то, что их не призовут. Блаженствовали торговцы мукой и крупой, но никак не учителя, писцы, переплетчики. Немцы взяли Калиш, Бендзин, Ченстохов. Я чувствовал, что опасность нарастает, и ожидал таинственной катастрофы. Казалось, что, если бы мы примирились с отсутствием газа и туалета в доме 10, всего этого не случилось бы.

Отец говорил, что идет война между Гогом и Магогом. И каждый день мы находили новые знамения, предвещающие приход Мошиаха.

ГОЛОД

Оказалось, что в результате немецкой оккупации Варшавы евреи вовсе не надели современных костюмов и еврейским мальчикам не предложили учиться в гимназии. Евреи остались в капотах, а их дети продолжали ходить в хедер. Из нового появилось лишь одно — немецкие полицейские в синих фуражках да резиновые дубинки, с помощью которых наводили порядок на улицах.

А продуктов в лавках стало еще меньше, на базаре Яноша и на других рынках продавать было нечего, голод стал ощущаться везде. Русские деньги теперь смешались с немецкими марками, передовицы еврейской газеты «Момент» стали ругать Антанту, а не хвалить ее, пророчили взятие Санкт-Петербурга. В наш дом приходили молиться в Дни трепета, но большинству женщин нечем было платить за место. Когда Ошер-молочник начинал читать молитву, женщины и мужчины плакали. Сло-

ва «кто погибнет от меча, кто от голода, кто от огня, кто от воды» обретали мрачную реальность. Чувствовалось, что Провидение готовит нечто ужасное. Наша трапеза на Рош а-Шона была скудной, хотя в Дни трепета и особенно в Новый год полагается хорошо есть. Отца редко звали для разбора тяжб, для свадеб и разводов, его часто спрашивали, что можно есть и чего нельзя, но за это не платили.

Тем не менее благодаря немцам нам несколько повезло: брату Ешуа уже не надо было скрываться от призыва под чужим именем. Он мог бывать у нас, но каждый его приход заканчивался ссорой с отцом.

Брат с его светскими книгами посеял в моей душе семена ереси. У нас, евреев, верящих в Бога, существование Которого нельзя доказать, нет ни государства, ни земли для обработки, мы не посвящаем себя ремеслам. А теперь улицы наполнены лавочниками, которым нечем торговать.

На Крохмальной, 10 у нас во дворе был общий с соседями-бедняками шалаш для праздника Суккос. В доме 12 соседи были богаче нас, и контраст в еде был слишком явным. Помню, как мать дала мне суп, в котором, как говорится, «под бульоном ничего нет». Смотритель дома, реб Ишая, заметив

это, положил мне в тарелку сухарик. Я обомлел, но все-таки был ему благодарен за такую доброту.

Война показала, что раввины, в том числе мой отец, не нужны. Они и другие ученые люди собрались в Варшаве из других городов и местечек, растерянно бродили по улицам в своих шелковых капотах в поисках хлеба. Тысячи сватов, маклеров, мелких дельцов не знали, как прожить. В синагогах голодные люди теряли сознание над Талмудом. Зима выдалась холодная, а топить было нечем.

В синагоге кто-то говорил, что, когда Исав обжирается, Яков может найти косточку, но когда Исав идет на войну, Якову приходит конец. Если бы только Бог сжалился над Израилем и послал помощь! Но, видно, на Небе сейчас не думают о евреях.

Я хотел бы рассказать о Йосефе Матесе, который посвятил себя исполнению заповедей Божьих, пока его жена продавала гусей. Еще до немецкой оккупации цена гусей поднялась до 25 рублей. Но кто теперь на Крохмальной мог позволить себе такую роскошь? Таким образом, Йосеф Матес, его жена, дочери и зятя остались без средств. Другие торговцы гусями сумели что-то отложить, но Йосеф Матес тратил все свои деньги на жизнь, благотворительность и помощь Радзиминскому ребе.

Никто не знал, как он беден, к тому же война обострила эгоизм людей. Более обеспеченные евреи молились рядом с неимущими, но и не помышляли о том, чтобы помочь им. В сущности, делить было почти нечего. Каждый испытывал страх перед будущим. Никто уже не думал, что война скоро кончится.

Я-то знал, каково голодать, и заметил, что на бледном лице Йосефа Матеса обвисла кожа. Но его зять, Исроэл-Ешуа (тезка моего брата) был еще более изможден и бледен. Подергивая едва пробившуюся бородку, он склонялся над своими книгами, вздыхал и украдкой оглядывался. Этот хрупкий молодой человек страдал и от стыда. Он мечтал служить Всевышнему, но его терзал голод. Погрузившись еще глубже в хасидские книги, он без конца крутил свои пейсы. Что он может сделать, думал я, этот зять, который живет за счет тестя и недоедает? Робкий и слабый, преждевременно ссутулившийся, он может только учиться и молиться, смотреть в «Милость Элимелеха» или «Святость Леви».

Однажды в пятницу вечером Йосеф Матес, который отдал все, что у него было, на обеды для бедных хасидов и нужды Радзиминского ребенка, стукнул кулаком по столу и воскликнул:

— Люди! У меня нет хлеба для кидуша!

Его слова отражали время. Теперь в Субботу кидуш произносили не над вином, а над хлебом.

В синагоге наступила тишина, которую сменило смятение. Сыновья реб Йосефа забились в угол, стыдясь за отца. Исроэл-Ешуа побелел, как снег. Несмотря на то что в тот вечер собрали хлеб, рыбу и субботние халы, для семьи Йосефа Матеса ничего по существу не изменилось. Нищие остались нищими, потому что благотворителей было слишком мало. Я опасался, что то же самое произойдет с отцом.

Как большинство других ребе, Радзиминский ребе переехал в Варшаву, где у него была собственность. Его считали богатым человеком, но это вызывало сомнения, так как не видно было, чтобы эта собственность приносила доход. Я не знаю, помогал ли он нуждающимся хасидам. Нам было настолько тяжело, что отец решил пойти к жене ребе, «молодой ребецн». Ей нечего было ему дать, и она предложила свое бриллиантовое кольцо, чтобы заложить его. Отец отказывался, но ребецн настаивала:

— Ради моей жизни и здоровья, возьмите!

Она показала ему место в Талмуде, где запрещается носить драгоценности, когда вокруг голодают.

Отец со стыдом вернулся домой, в руках у него была коробочка с кольцом. Мама нахмурилась, возможно, из ревности. Заложив кольцо, мы купили муку, хлеб, крупы. О мясе, слишком дорогом, никто и не мечтал. Из соображений экономии мы стали пользоваться кокосовым маслом, которое, кстати, можно употреблять и с мясным, и с молочным.

Больше всего мы страдали от холода, так как не могли себе позволить отапливать квартиру. Наши трубы замерзли, и нельзя было пользоваться туалетом. Окна украсили морозные узоры, с рам свисали сосульки. Когда мне хотелось пить, я отламывал сосульку и сосал ее. Ночью холод становился невыносимым, сколько ни укрывайся, не помогало. По квартире гулял ветер, заставляя думать о призраках. Съежившись в постели, я мечтал о кладах, черной магии, заклинаниях, способных помочь отцу, матери, Йосефу Матесу, всем страдальцам. Я воображал себя Илией-пророком, Мошиахом, кем только не воображал... Как библейский Иосиф, я наполнял житницы зерном и раскрывал их в семь лет неурожая. От моего слова трепетали целые армии со своими генералами и императорами. Я дарил Радзиминской ребецн целые корзины бриллиантов.

Покидать постель было просто страшно. Мама, мой брат Мойше и я вставали как можно позже.

Отец заставлял себя подниматься раньше. Он отламывал руками лед с окна и растапливал его на плите. Он научился пользоваться газом. По-прежнему надо было бросить двугривенный, но чай был единственной роскошью, хотя и представлял собой горячую воду со щепоткой чаинок. Сахар был недоступен, а сахарин отец очень не любил. Завернувшись в заштопанную капоту, он пил чай и занимался, писал замерзшими пальцами. В «Лике Ешуа» все было, как всегда, «Рычание Льва» задавало древние вопросы. На чем основано чтение «Слушай, Израиль» — на законах Моисея или установлениях мудрецов? Следует ли повторять все, как учит Моисей, только первый стих или первый раздел? Только так отец чувствовал себя хорошо.

До войны я покупал для него ежедневно несколько маленьких пачек папирос, он курил и трубку. Теперь от дорогих папирос пришлось отказаться, трубку он набивал деревенским табаком — махоркой. Он пил жидкий чай, курил, изучал Тору. Что еще есть, кроме Торы?

Мой брат Ешуа снова жил с нами, спал на столе в отцовском кабинете, где было холоднее, чем на улице. Мама укрывала его всем, что можно было найти.

Несмотря на страшный холод, квартиру наводнили мыши. Они питались и книгами, и одеждой, с самоубийственной лихостью прыгали ночью по дому. Мама привела кошку, но это существо смотрело на мышей равнодушно, ее желтые глаза внушали: пусть бегают, кому до этого дело? Мысли кошки были, казалось, далеко, она всегда дремала или спала.

— Кто знает? — говорил отец. — Может быть, в нее воплотилась чья-то душа...

Он обращался с кошкой почтительно, полагая, что эта душа могла принадлежать праведнику. В конце концов праведник, который грешил при жизни, возвращается на некоторое время на землю. Земля полна переселившихся душ, посланных назад искупать проступки.

Когда отец ел, он подзывал к себе кошку, и та с царственным видом подходила, давала погладить себя, ела медленно и не без разбору. Потом серьезно смотрела на нас, как бы говоря:

— Если бы вы знали, кто я, то чувствовали бы себя польщенными тем, что я здесь.

Как могла она ловить мышей?

НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ

После ряда немецких побед казалось, что Варшава станет частью Германии, как Билгорай — частью Австрийской империи. Из Германии прибыли два «раббинера» — доктор Карлбах и доктор Кон, распространились слухи, что они хотят превратить нас в немецких евреев. Эти раббинеры изучали Талмуд, но говорили по-немецки и вели дружбу с генералами. Ортодоксальный еврей Нохум-Лейб Вейнгут связался с ними, желая объединить германский и варшавский раввинаты, что не очень воодушевляло руководителей общины. Война еще не закончилась, и неизвестно, что произойдет, если вдруг победят русские. Они подумали, что лучше оставаться нейтральными, и Вейнгут решил использовать для этого духовных раввинов. Созвав этих раввинов на собрание, он обещал им официальный статус и жалованье, если ему будет позволено выступить от их имени.

До этого духовные раввины редко нас посещали, но теперь повалили в большом количестве. Сначала они чуждались друг друга, затем создали ассоциацию, федерацию, избрали комитет, президента. Папа присутствовал на собрании. Каждую минуту раздавался стук в дверь, и появлялся новый человек в шелковом сюртуке и бархатной шляпе. Соседи с уважением смотрели на череду раввинов, которые уточняли наш адрес. Мама подавала чай, папа устраивал вновь пришедшего гостя. Наша квартира приобрела праздничный вид. Было лето, и она выглядела совсем неплохо, став местом для синедриона.

Мирские дела обсуждались не хуже Торы. Все согласилось, что такова воля Божья. План Вейнгута материализовался, но пока нужно было на что-то жить. Раввин с черными, как смоль, волосами и горящими глазами заявил, что не одобряет ни комитета, ни лидеров. Не задумано ли все это для того, чтобы вытеснить менее практичных людей?

— Боже упаси! Зачем это им? — усомнился папа.

— Нынче каждый делает то, что считает нужным, — высказал свое мнение один из раввинов.

— Злой дух не спрятать под шелковым сюртуком, — заметил раввин с улицы Купечка.

— Тогда это конец света! — воскликнул папа.

Спор продолжался, один раввин гладил бороду, другой — высокий лоб, третий наматывал кисти талеса на указательный палец. Я думал о том, как эти духовные раввины выглядят и ведут себя по-разному.

У одного толстяка живот сдавлен кушаком, как обручем, рот под бородой круглый, губы мясистые, глаза выпучены. Во рту у него была сигара, он тяжело дышал, возможно, из-за астмы. В какой-то момент он достал из кармана деньги и послал меня за сельтерской водой, а брата Мойше за печеньем.

Другой раввин оставался возле книжного шкафа, не обращал внимания на происходящее, хмурился, будто хотел сказать: вся эта болтовня ничего не стоит, лишь святые слова весомы...

Престарелый раввин цитировал изречения реб Ишай Муската, Пражского, как его называли. Слушал его только мой папа.

Молодой раввин с длинными пейсами и редкой бородкой сидел мрачный. Он, по-видимому, скептически относился к плану и досадовал на то, что оказался среди мечтателей. Позднее я узнал, что у

него красавица жена и богатый тесть, который намерен взять его в дело.

Раввин с улицы Купечка прошептал папе, что боится, как бы дело не ограничилось одними разговорами.

— Почему?

— Провидение предназначило нам бедность... — Он мудро улыбнулся и предложил папе понюшку табаку.

Однажды Вейнгут пригласил раввинов в ратушу на встречу с важной особой (с приставкой «фон»). Пойти в ратушу и говорить с герцогом? Отец испугался. И он не видел смысла в том, чтобы расчесать бороду и надеть лучшее платье, как советовал Вейнгут. Какой резон ему якшаться с немцами? Он отказался держать экзамен перед русским губернатором — почему он должен посещать немецкого чиновника? Мама сердилась.

— Чего ты боишься? Никто тебя не заставит танцевать с дамами.

— Я не говорю по-немецки... Я боюсь... Я не хочу...

— Что ты теряешь — свою бедность?

Другие раввины пришли, тоже оробев. Раввин с улицы Купечка спросил отца, что он обо всем этом думает.

— Не хотят ли они крестить нас?

— Но ведь Нохум-Лейб Вейнгут — хасид, — возразил папа.

— Разве он главный?

— Что немец может нам сказать?

— А если нас, не дай Бог, хотят выслать из Варшавы?

Этот раввин был пессимистом и, очевидно, трусил еще больше папы, который в присутствии других все-таки бодрился.

— В военное время не идти так же опасно, как идти...

— Мы могли бы сказатьсь больными...

В конце концов решили идти. Накануне отец пошел в микву. Мама приготовила ему чистую рубашку и брюки, почистила, как могла, капоту. Утром папа молился и вздыхал:

— Приклони ко мне ухо, Господь, и слушай... открой Свои глаза, чтобы увидеть мерзость... Прости нас и спаси, пока не поздно...

Потом он, надев парадную капоту и лакированные туфли, вышел встретить остальных раввинов, чтобы отправиться с ними в ратушу.

Вечером он рассказал нам, как они вошли в зал, полный полицейских и высших чиновников, как их отвели в комнату, где висел портрет кайзе-

ра Вильгельма. Там их приветствовал немецкий «раббинер», а затем аристократ, военный врач, прочел им лекцию о чистоте. Хотя говорил он по-немецки, все его понимали, особенно когда тот показал сильно увеличенное изображение насекомого, переносчика тифа. Он попросил «герров раввинов» проповедовать чистоту (что, кстати, соответствует их религии), поклонился и ушел.

— А что еще? — спросила мама.

— Ничего.

— Ни должностей? Ни жалованья?

— Ничего.

— Значит, они и не собираются говорить об этом, — пришла к выводу мама.

— Если нас созвали в ратушу, стало быть, мы считаемся официальными раввинами.

Мама хмыкнула.

— Ну, по крайней мере, все это позади. Сказать тебе правду, я этой ночью глаз не сомкнул, — признался папа.

В следующую Субботу он провел в синагоге беседу о чистоте. Евреи зевали и качали головами. Если подвал протекает, как он может быть чистым? И как соблюдать чистоту, если нет лишнего белья, одежды, даже куска хлеба? Но они знали, что папе велено провести такую беседу.

Мама была права: ничего из этого не вышло. Немцы забыли о духовных раввинах, и Нохум-Лейб Вейнгут начал издавать ортодоксальную газету. Теперь требовались журналисты, а не раввины. Мой брат бросил рисовать и стал писателем. Вейнгут послал за ним — нет ли у него очерка о еврейской жизни с ортодоксальной точки зрения.

Очерк у брата нашелся, и его опубликовали. Это был юмористический рассказ о старой деве. Помнится, ему заплатили за него восемнадцать марок.

Духовные раввины собирались и после этого, обсуждали разные дела. Оставалась надежда, что недавно организованная ортодоксальная партия поможет им, но партия была не в силах, и отец совсем отчаялся. Чужеземное название «ортодокс» ему не нравилось, газета, в которой работали вольнодумцы, употреблявшие современный язык, его возмущала. Возможно, такая газета способна удержать молодых людей от ереси. Отцу же новые темы и их описание казались слишком светскими.

С другой стороны, в этой газете начал свою карьеру мой брат. Он опубликовал в ней серию своих рассказов, перевел с немецкого роман Лемана о рабби Йосельмане.

Я стал читать эту газету, а также Достоевского, Бергельсона и детективные рассказы о Шерлоке Холмсе и Максе Шпицкопфе. Детективы казались мне шедеврами. Фраза из одного такого произведения сохранилась в моей памяти — подпись под картинкой, где Макс Шпицкопф и его помощник Фукс с револьверами в руках нападают на бандита.

Шпицкопф кричит:

— Руки вверх, негодяй! Мы тебя накрыли!

Долгое время эти наивные слова звучали для меня как музыка...

Я стал достаточно взрослым и мог уже надевать тфилин. В России произошла революция. В газетах писали, что царь Николай II находится под домашним арестом и развлекается тем, что колет дрова, а евреям разрешено жить в Петербурге и Москве. Для отца это были дополнительные знамения о скором приходе Мошиаха. Как иначе можно оценить падение такого государя? Что случилось с казаками? Ответ был только один: Небо приказало низложить Николая. Как только враги евреев теряют власть, евреи возвышаются.

Этим летом мой брат Исроэл-Ешуа сообщил, что теперь у австрийского консула в Варшаве можно получить визу в Билгорай. Больше, чем когда-либо, мне хотелось поехать в Билгорай, где мой дедушка был раввином. С момента переезда в Варшаву я нигде не был. Даже поездка на дрожках или трамвае являлась для меня приключением.

Я по-прежнему мечтал о длительном путешествии поездом, к далеким странам. В Варшаве мы уже не могли оставаться. С лета 1915 года нам приходилось постоянно голодать. Отец опять писал, стал главой ешивы, которая была под юрисдикцией Радзиминского ребе (тот вернулся в Радзимин), но жалованья не хватало даже на хлеб. Зима 1917 года представляла для нас непрерывный пост. Мы ели только мерзлую картошку и деревенский сыр. Голод был особенно мучителен, так как рядом с нами, на одной лестничной площадке, жил пекарь Копл. Продукты выдавали по карточкам, но пекари нарушали законы — хлеб был очень дорогим на черном рынке. В семье Копла прибыль подсчитывали без конца. Они варили мясо, и благодаря этому мы помнили, что оно существует. От запахов, доносившихся из соседней квартиры, мы сходили с ума.

Прежде чем продолжить рассказ о предстоявшей поездке в Билгорай, хочу немного вспомнить о нашем соседе Копле. Я хорошо помню его дочь, Миреле, которая в воротах дома продавала хлеб, булки и субботние халы, деньги она держала в чулке. У Копла было несколько сыновей, — как и он, пекари. Миреле — младшая из его детей, единственная дочь. Отец семейства, небольшого

роста, плотный, с огромным животом человек, несколько раз подвергался операции. Круглое его лицо обрамляла седая подстриженная борода. Болтливый и хвастливый, он постоянно клялся, повторяя при каждой возможности:

— Чтобы не дожить мне увидеть Миреле под свадебным балдахином, если я вру!

Он обожал свою дочь. Юноши с Крохмальной не решались трогать ее, боясь, что Коппл с сыновьями их зарежут.

Миреле, подобно отцу, росла больше в ширину, чем в высоту. К семнадцати годам она уже перерзела. Коппл заявил сватам, что сочтет подходящим зятем только самого исключительного юношу. В конце концов они нашли такое чудо — молодого книготорговца. Был ли он на самом деле книготорговцем, не было ли это прозвищем, которое давали на Крохмальной каждому грамотному человеку, не знаю.

Жених, как выяснилось, сирота, сразу после помолвки переехал к Копплу. Высокий, кудрявый, с холеными руками (что считалось на Крохмальной весьма привлекательным), он казался хорошей парой для Миреле. Если ему нужны были деньги, он брал их сам где придется — со стола, поискав в ящиках стола или шкафа и даже под матрацами.

Предполагалось, что Копл неизбежно передаст ему, по крайней мере, половину своего состояния. Молодые люди, жившие по соседству, ему завидовали: у него было все — булки, мясо, мед и вдобавок ко всему Миреле. Что может быть лучше?

Внезапно, среди приготовлений к свадьбе, Коплу в очередной раз пришлось лечь в больницу. Но операция уже не могла ему помочь. Перед смертью он объявил свое последнее желание — чтобы свадьба состоялась тотчас же по окончании траура.

На Крохмальной говорили, что Копл злоупотреблял своей знаменитой клятвой.

Однако вернемся к поездке.

В 1917 году в Варшаве свирепствовали тиф и тифозная горячка. Немцы принуждали всех мыться в банях. Вокруг дворов выставлялась цепь солдат, и жильцов сгоняли в эти самые бани. Мужчинам стригли бороды, а у девушек отрезали косы. Люди боялись выходить на улицу. Санитарные комиссии обследовали дома. Голод, болезни, страх перед немцами делали жизнь невыносимой. Австрийское консульство находилось на улице Щигля — в узком переулке, ведущем от Краковского бульвара (или Нового мира) к Висле. В то время очереди выстраивались за чем угодно — хлебом, картошкой, керосином. Но самой длинной и широкой

была очередь на улице Щигля. Десятки тысяч людей, из Варшавы и провинции, стремились попасть в области, оккупированные Австрией. Там, в маленьких городах, было легче с едой, говорили, что там можно забыть о войне. Но ходили также слухи, что в австрийской армии свирепствует холера и гибнут тысячи людей. Мама не получала писем из Билгорая и почему-то решила, что ее отец умер. Как-то утром, проснувшись, она заявила:

— Папа умер.

Ей приснился дедушка, и лицо его сияло, как у человека, перешедшего в иной мир. Мы пытались преуменьшить значение сна, но мама оставалась твердо убежденной, что билгорайского раввина больше нет.

Моему отцу не хотелось оставлять место раввина, а брату бросать свою газету. Он был уже знаком с девушкой, на которой собирался жениться. Решили, что покамест в Билгорай поедет только мама с младшими детьми — Мойше и мною. Но нужна была виза, а для этого следовало выстоять в длинной очереди. Сколько? Недели, а то и месяцы. Люди стояли в очереди днем и ночью. В больших семьях все члены семьи дежурили попеременно. Очереди обычно продвигаются, с визовой

же было иначе: австрийский консул тормозил выдачу виз, а немецкие солдаты, следившие за порядком, торговали местами в очереди. Те, кто платил, попадали к консулу, прочие могли ждать вечно. Солдаты постоянно менялись, и одной взятки было мало. То и дело можно было слышать: «фер-флюхте юден» — проклятые евреи.

Заняла очередь и наша семья. Мама, мой старший брат и я сменяли друг друга, но никак не продвигались к дверям консульства.

Стоя в очереди, я изучал немецкий по старому учебнику, полному всевозможных рассказов и стихов. Две фразы застряли в моей памяти: «Эс регнет — Гот сегнет! (Дождь поливает — Бог благословляет!)»

Мы уже отчаялись, но однажды брат вернулся домой с визами: Ешуа как-то наскреб тридцать марок и подкупил стража.

Никогда не забуду этот день. Был конец июля или начало августа. Семья, полумертвая от усталости, отчаяния и голода, ожила. Квартира стала выглядеть по-новому. Лицо матери посветлело. Солнце ярко сияло. День стал радостным и легким. Печать на листке бумаги допускала нас в мир, до того запретный, граница открывалась, дорога вела к зеленым полям, пище, родным, которых мы

никогда не видели. Для нас, детей, Билгорай символизировал приход Мошиаха. Чудо. Там жили наши дяди, тети, кузены. Билгорай был нашей Землей обетованной, откуда до Иерусалима только шаг.

Я ликовал и плясал. Мы поедem поездом! Мама улыбалась и вздыхала: для нее это не было беззаботное приключение. Во-первых, она оставляет отца одного. Он будет жить не в Варшаве, а в Радзимине, тогда как Ешуа остается в Варшаве. Как она может уехать, когда отец и Ешуа все еще в опасности? Мать считала, что совершает грех. В такое страшное время вся семья должна быть вместе. Отец и Ешуа возражали ей. Не ехать — значит рисковать жизнью детей. Хочет ли она взять на себя ответственность за это?

Я был слишком мал и не мог понять сомнений мамы, которая упрекала сама себя. Мне казалось, что она хочет погасить мои надежды, лишит меня огромного удовольствия, и я злился на нее. У меня кружилась голова от желания ехать, я думал только о том, как сяду в поезд, и буду смотреть в окно. Смотреть в окно поезда я люблю до сих пор.

ШОША

Когда мы жили на Крохмальной, 10, я все вечера обычно проводил дома. В нашем дворе было темно, маленькая керосиновая лампа больше коптила, чем светила. Родители рассказывали нам о чертях, ведьмах, оборотнях, и я боялся выходить. Оставался дома и читал.

У одной из наших соседок Баси, владелицы лавки, были три дочери: Шоша девяти лет, Ипа — пяти и Тайбеле — двух. С Шошей, которая была на год старше меня, мы часто играли у нее дома.

Чтобы попасть вечером в квартиру Баси, приходилось пройти через темный коридор, на что требовалась только одна минута, но минута, наполненная ужасом. К счастью, Шоша почти всегда слышала, что я иду, и, задыхаясь, бежала открыть дверь. Как только я ее видел, все страхи пропадали. Шоша была красивая, синеглазая девочка со светлыми косичками. Мы любили рассказывать

друг другу разные истории, и это нас сближало. Когда я приходил, Шоша тотчас же вытаскивала «вещи». Игрушками служили выброшенные взрослыми пуговицы от старой одежды, ручка от чайника, деревянная катушка без ниток, «серебряная» фольга из чайного пакетика и другие, подобные этим, предметы. Я часто рисовал цветными карандашами человечков и зверей для Шоши, а она вместе с сестрой Ипой восхищались моим искусством.

За изразцовой печкой в квартире Баси долгими зимними вечерами потрескивал сверчок. Я воображал, что он рассказывает что-то бесконечное, но кто может понять язык сверчка? Шоша уверяла, что за печкой живет и домовый, никогда никому не причинявший вреда, напротив, даже помогавший иногда по хозяйству, но тем не менее вызывавший страх. Этот домовый любил и проказничать. Туфли и чулки, которые Шоша перед сном клала на стул рядом с постелью, она утром обнаруживала на столе.

Их, разумеется, туда перекладывал домовый. Несколько раз девочка ложилась в постель с заплетенными косами — домовый распускал их, пока она спала. Однажды, когда Шоша показывала на стене пальцами тени, тень козы прыгнула к ней и боднула в лоб. Это тоже из проделок домового. Как-то мама послала Шошу за свежими булками,

вручив ей серебряный гульден. Потеряв деньги, она, испуганная, с плачем вернулась домой и нашла монету в... собственной руке. Домовой дернул ее за косичку и шепнул на ухо:

— Шлемл!⁸

Я много раз слышал эти истории, но всегда неизменно дрожал от возбуждения. Мне и самому нравилось сочинять. Я говорил, в частности, что у моего отца в лесу, в пещере спрятан клад, что мой дедушка — царь в Билгорае, что мне известно волшебное слово, которое, если его произнести, может уничтожить мир.

— Пожалуйста, пожалуйста, не произноси его! — умоляла Шоша.

Возвращаться домой было еще страшнее, чем идти к Шоше. То, что мы успевали сообщить друг другу, увеличивало мой ужас. Казалось, темный коридор полон злых духов. Я как-то прочел рассказ о юноше, которого духи заставили жениться на ведьме. Эта пара жила где-то в пустыне возле горы Сеир. Дети у них были полулюди-получерти. Я боялся, что это случится со мной, и бежал по темному коридору, повторяя слова, способные защитить от злых сил:

⁸ Недотепа, балда (*идиш*).

— Ты не позволишь ведьме жить! Жить ведьме не позволишь Ты!

Когда мы перебрались на Крохмальную, 12, о визитах к Шоше нечего было и думать. Кроме того, мальчику-хасиду, изучающему Тору, не подобало водиться с девочками. Мне же очень недоставало Шоши. Я надеялся увидеть ее как-нибудь на улице, но проходили месяцы и годы, а мы не встречались.

Со временем Шоша стала для меня образом из прошлого. Днем я часто думал о ней, а ночью она мне снилась, прекрасная, как принцесса. Несколько раз во сне я узнавал, что она вышла замуж за домового и живет с ним в темной пещере. Он приносит ей туда еду и никогда не выпускает на свет. Я видел, как он кормит ее с ложечки вареньем, привязав к стулу веревкой. У него собачья голова и крылья летучей мыши.

После окончания войны я вернулся из Билгорая в Варшаву. Стал писать, мои рассказы появлялись в газетах и журналах, сочинил роман, в котором изобразил чертей и демонов. Женился, у меня родился сын. Решил эмигрировать в Америку, получил такую возможность и готовился покинуть Варшаву навсегда. За несколько дней до отъезда ноги принесли меня на Крохмальную,

где я не был много лет, хотел увидеть улицу, где жил в детстве.

Дома состарились и обветшали, но перемен оказалось не так уж много. Я заглянул в некоторые дворы: огромные мусорные баки, босые, полуголые дети. Мальчишки играли в салки, прятки, казаки-разбойники, девочки прыгали через веревочку. Все, как и четверть века назад. Я пошел к дому 10. Боже правый, ничего не изменилось! Облупившиеся стены, туалет... В коридоре, который вел в квартиру Шоши, было темно, как и раньше. Я зажег спичку и отыскал дверь. Сделав это, я понял что все это глупо, Шоше теперь уже должно быть за тридцать. Маловероятно, чтобы семья продолжала жить здесь. Даже если ее родители еще живы и не покинули эту квартиру, сама Шоша наверняка вышла замуж и уехала. Какая-то необъяснимая сила заставила меня все-таки постучать в дверь.

Не услышав ответа, я поднял задвижку (как делал это иногда в старое время), и дверь открылась. Я вошел в кухню, которая выглядела точно так же, как тогда, 25 лет назад. Знакомые мне ступка и пестик, стол, стулья. Не сон ли это? Может ли это быть наяву?

Тут я увидел девочку лет восьми-девяти. Господи, да ведь это Шоша! То же милое личико,

светлые волосы с красными бантиками, та же длинная шея. Девочка с удивлением глядела на меня, но не казалась испуганной.

— Кого вы ищете? — спросила она, и это был голос Шоши.

— Как тебя зовут? — задал я вопрос ей.

— Меня? Бася.

— А как зовут маму?

— Шоша, — ответила девочка.

— А где мама?

— В лавке.

— Я жил здесь когда-то, — объяснил я. — Играл с твоей мамой, когда она была маленькой девочкой.

Бася посмотрела на меня своими большими глазами и опять спросила:

— Вы Ичеле?

— Откуда ты знаешь про Ичеле? — в горле у меня образовался комок, я едва мог говорить.

— Мама рассказывала мне о нем.

— Да, я Ичеле.

— Мама говорила мне, что у вашего папы была пещера в лесу, полная золота и бриллиантов. Вы знали слово, которое могло уничтожить мир. Вы все еще знаете его?

— Нет, уже не знаю.

— А что случилось с золотом в пещере?

— Кто-то украл его.

— А ваш дедушка еще царствует?

— Нет, Бася, уже нет.

Некоторое время мы оба молчали.

Потом я спросил:

— Мама говорила тебе о домовом?

— Да, у нас был домовый, но он исчез.

— Что с ним случилось?

— Не знаю.

— А сверчок?

— Сверчок есть, но его можно слышать большей частью ночью.

Я спустился в кондитерскую (ту, где обычно мы с Шошей покупали конфеты), набрал много разных сладостей, вернулся и отдал все девочке.

— Хочешь, я расскажу тебе одну историю? — предложил я Басе.

— Да, очень.

Я рассказал Басе о красивой белокурой девушке, которую демон унес в пустыню, к горе Сеир, и заставил выйти за него замуж, о детях, которые у них родились, — полулюдях-полудемонах.

Глаза Баси сделались задумчивыми.

— И она там осталась?

— Нет, Бася, святой человек рабби Лейб узнал о беде девушки, отправился в пустыню и спас ее.

— Как?

— Ему помог ангел.

— А что случилось с детьми?

— Дети стали обычными людьми. Ангел унес их на своих крыльях вместе с матерью в безопасное место.

— А демон?

— Демон остался в пустыне.

— И больше никогда не женился?

— Женился, Бася. Женился на ведьме, взял жену такую же, как он сам.

Мы снова замолчали, и вдруг я услышал знакомое поскрипывание сверчка. Мог ли это быть сверчок моего детства? Конечно, нет. Возможно, это был прапраправнук того. Но он рассказывал ту же историю, древнюю, как время, потрясающую, как мир, и длинную, как зимние ночи Варшавы.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Кто я	7
Родословие	14
После свадьбы	21
Переезд из Радзимины в Варшаву	28
Дядя Мендл	36
Почему гуси кричали	44
День наслаждений	52
К диким коровам	61
Тайны кабалы	71
Трейтл	86
Реб Ошер-молочник	97
К Земле Израиля	106
Реб Хаим из Горшкова	115
Прачка	124
Расторгнутая помолвка	132
Клятва	140
Разрешение от ста раввинов	149

Тайна	160
Большая тяжба	170
Торгаш	181
Завещание	190
Я стал сборщиком	200
Шелковая капота	206
Выстрел в Сараево	214
Голод	222
Напрасные надежды	230
Виза	238
Шоша	245

УДК 821.111(73)

ISBN 9785900309446 (тв. пер.)

ББК 84(4Сое)

363

ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР

Папин домашний суд

Издательство «ЕВРЕЙСКОЕ СЛОВО»

127018, Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 5а

Тел. (095) 792-31-10; 792-31-13

E-mail: gazeta@e-slovo.ru; lechaim@lechaim.ru

Internet: www.e-slovo.ru; www.lechaim.ru

Издательство благодарит Давида Розенсона
за участие в разработке этой серии

Подписано в печать 07.03.2007

Формат 70x100/32. Усл.-печ. л. 8

Тираж 5 000 экз.

Заказ № 662

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»

105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

В серии
ПРОЗА ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
вышли:

Аарон АППЕЛЬФЕЛЬД. Катерина
Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раб
Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР. Раскаившийся
БЕЛАЯ ШЛЯПА БЛЯЙШИЦА. Сборник
рассказов
Сол БЕЛЛОУ. Серебряное блюдо
Даниэль КАЦ. Как мой прадедушка
на лыжах прибежал в Финляндию
КИПАРИСЫ В СЕЗОН ЛИСТОПАДА.
Рассказы израильских писателей
Мордехай РИХЛЕР. Улица
Меир ШАЛЕВ. Русский роман
Лесли ЭПСТАЙН. Сан-Ремо-Драйв



ЕВРЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ И ТЕМЫ

Об этих и других книгах, о новинках
и классике, об актуальных событиях
и вечных вопросах – рецензии, статьи,
анонсы и проекты на сайте
www.booknik.ru



Исаак Башевис Зингер (1904-1991) – нобелиат и один из крупнейших еврейских писателей XX века.

В книге "Папин домашний суд" он собрал воспоминания своего детства, прошедшего на бедняцкой Крохмальной улице в Варшаве, в квартире, освещаемой керосиновой лампой.

На Крохмальной улице пару лакированных туфель носили три года, учили Талмуд и тайны кабалы, заключали помолвки, расторгли помолвки и боялись войны. С Крохмальной улицы кто уезжал в Палестину, кто эмигрировал в Америку, а рыжебородый раввин Зингер изо дня в день творил раввинский суд, прообраз Суда Небесного.

